



Д Ы М

ДЭН ВИЛЕТА



The Big Book

Дэн Вилета

ДЫМ

«Азбука-Аттикус»

2016

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

Вилета Д.

Дым / Д. Вилета — «Азбука-Аттикус», 2016 — (The Big Book)

ISBN 978-5-389-14041-7

Англия. Век тому назад, плюс-минус несколько лет. Англия, где люди, порочные в мыслях или делах, отмечены дымом – он истекает из их тел, и это признак человеческого падения. Аристократы не испускают дыма, и это доказательство их праведности и права на власть, ведь низшие классы в отличие от них погрязли в грехе и саже. Элитная школа-пансион, где сыновья богачей готовятся принять власть как свое право по рождению. Учителя, связанные загадочными узлами с противоборствующими партиями в высших правительственных кругах. Трое подростков, узнающих, что все, чему их учили, – ложь, и знание это может стоить им жизни. Старинное поместье, чьи чердаки и тайные лаборатории хранят невероятные тайны. Любовный треугольник. Отчаянное преследование. Заговорщики и тайная полиция. Убийство. Неожиданные злодеи и неожиданные герои. Холодный рассудок против страсти. Богатство против бедности. Правильное против неправильного, хотя что есть первое, что второе – неясно. Таков мир «Дыма» – увлекательнейшего повествования, истории по-диккенсовски хитроумной и невероятно изобретательной, с богатой художественной атмосферой и захватывающим сюжетом, вполне в духе таких знаменитых современных бестселлеров, как «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» Сюзанны Кларк и «Маленький, большой» Джона Краули.

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-389-14041-7

© Вилета Д., 2016
© Азбука-Аттикус, 2016

Содержание

Часть первая. Школа	7
Испытание	7
Чарли	15
Экскурсия	17
Привратник	25
Инфекция	27
Томас	37
Сладости	40
Суинберн	51
Часть вторая. Поместье	53
Уроки	53
Ливия	69
Бой	71
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Дэн Вилета

ДЫМ

Dan Vyleta
SMOKE, SOOT & ASH

© Е. Копосова, перевод, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство АЗБУКА®

* * *

Посвящается Шанталь, моей любимой. Вместо цветов.

Посвящается маме. Ты показала мне, что такое храбрость.

*Посвящается Ханне, потерявшей своего дорогого человека.
Скорблю с тобой*

Люди, занимающиеся науками и отыскивающие связь между ними и здоровьем человека, сообщают нам, что, если бы видимы были глазу ядовитые частицы отравленного воздуха, перед нами предстало бы густое черное облако, нависающее над трущобами; медленно разрастаясь, оно заражает лучшие районы города. Но если бы можно было разглядеть также ту моральную отраву, которая распространяется вместе с этими частицами и в силу вечных законов оскорбленной Природы от них неотделима, – каким бы это было ужасным откровением!

*Чарльз Диккенс. Торговый дом «Домби и сын»
(перевод с английского А. Кривцовой)*

Часть первая. Школа

Испытание

– Томас, Томас! Вставай!

Пробудившись, он первым делом проверяет сорочку, подушку, одеяло – чисто ли. Проверяет быстро, механически, еще полусонный: проводит ладонью по коже в поисках предательских хлопьев сажи.

Только потом он задается вопросом, который час и кто не дает ему спать.

Конечно, это Чарли. Из-за горящей свечки, которую Чарли держит в руке, его лицо непрестанно меняется. Вот оно застыло, так, будто составлено из пятен света и тьмы. Вот оно всколыхнулось: глаза, нос, губы беспорядочно задвигались, меняя положение; по рыжеватым волосам пробежал отблеск пламени.

– Чарли? Который час?

– Уже поздно. То есть рано. Говорят, что скоро два. Хотя черт его знает, откуда это известно.

Чарли наклоняется к нему, желая что-то шепнуть. Свеча ныряет вместе с ним, разбрасывая тени по кровати.

– Это Джулиус. Он говорит, что все должны собраться. В умывальне. Немедленно.

Дортуар наполняется движением. Бледные фигуры потягиваются, поднимаются, перешептываются, собравшись по двое-трое. Поспешность борется с нежеланием. Свечей наперечет; лунный свет за окнами, отражаясь от снега, заливаает стекла призрачным молочно-белым сиянием. Вскоре открывается двустворчатая дверь, и процессия выходит в коридор. Никто не хочет быть первым или последним – ни Чарли, ни Томас, ни даже немногие мальчики, удостоенные особой благосклонности. Лучше всего затеряться в толпе.

Кафельный пол леденит ноги. Умывальня – это просторная комната, по периметру которой установлены раковины. Раковины широкие, из белого фарфора, сплошь покрытого паутиной трещин – слишком тонких, чтобы нащупать пальцем: их словно нарисовали острым карандашом. В дальнем конце выстроились туалетные кабинки, а за ними, в длинном узком приделе, выстроены в ряд ванны, квадратные, выложенные бледно-зеленой плиткой. Пол умывальни имеет едва заметный наклон к центру. Это становится понятно, если пролить на пол воду. Она собирается в ручейки и стекает к самому низкому месту. Там, как раз посреди умывальни, находится сливное отверстие, небольшое, прикрытое осклизлой металлической решеткой, которая наполовину забита волосами и грязью.

В этом месте он и поставил стул. Он – Джулиус. Мальчики младших классов называют его Кесарь, а не Цезарь – так учил произносить это слово преподаватель латыни. Переводится как «назначенный император». Следующий правитель. Из всех, кто собрался в комнате, одет он один: брюки отглажены, полуботинки начищены до блеска. Он без куртки, но в жилете, чтобы привлечь внимание к рубашке: от лилейной белизны рукавов больно глазам. Когда он шевелит рукой, накрахмаленное полотно издает звук – нечто среднее между шорохом и хлопком, в зависимости от быстроты движения. Ты прямо-таки слышишь, насколько она чиста. И, соответственно, насколько чист он. Никакое зло не смеет коснуться его. Из всей школы Джулиус ближе всех к святости.

Он кладет ладони на спинку стула и наблюдает за тем, как мальчиков накрывает волна страха. Томаса она тоже окатила. Дело тут не в храбрости, думает он, а в физической силе. Это как прикосновение ветра к лицу в ненастный день. Ты не можешь не чувствовать его.

– Мы устроим лотерею, – негромко объявляет Джулиус, не поприветствовав никого, и один из его подручных, широкоплечий парень лет восемнадцати, выходит вперед с карандашными огрызками, стопкой бумажных квадратиков и большим мешком. В таких мешках обычно хранят картошку. Еще из них мастерят пугала. Мешок вроде этого надевают человеку на голову перед тем, как его повесить. «Выдумки», – говорит сам себе Томас, беря бумажку и карандаш, чтобы написать свое имя. Томас Аргайл. Титул он не указывает. Бумажка исчезает в мешке.

Томас не знает, в чем состоит хитрость Джулиуса, но тот наверняка хитрит. Возможно, он помечает бумажки. Или просто делает вид, что читает имя с листочка, взятого из мешка, а сам называет того, кого выбрал заранее. Единственный человек, который мог бы подтвердить добросовестность его действий, – это все тот же преданный помощник, раздающий бумажки. Джулиус закатывает рукав перед тем, как сунуть руку в мешок, будто собирается искать грех на дне мутного пруда. Будто для него настолько важно не запачкаться.

Первое имя становится сюрпризом. Коллингвуд. Один из приближенных Джулиуса – «стражей», как они любят называть себя, и к тому же староста, который держит у себя ключи от дортуара и пользуется доверием учителей. Выбор Джулиуса на мгновение озадачивает Томаса. Потом он все понимает. Это демонстрация справедливости, напоминание о том, что правила распространяются на всех. Каждому есть чего бояться.

– Коллингвуд, – вторично произносит Джулиус, называя одну фамилию, без имени. Здесь они обращаются друг к другу только так. Имена – это для друзей, для бесед по душам. И для Джулиуса.

Приходится повторить фамилию трижды, прежде чем Коллингвуд делает шаг вперед. Нет, он не намерен сопротивляться. Просто он не в силах поверить собственным ушам и оглядывается в поисках объяснений. Но мальчики, стоявшие вокруг него, давно отодвинулись; они прячут глаза, словно могут заразиться от одного только взгляда Коллингвуда. И вот он наконец выходит, обхватив грудь руками: высокий, неуклюжий парень с кислым из-за катара дыханием.

Коллингвуд садится на стул, и его ночная сорочка задирается до середины бедра. Он пытается улыбнуться. Джулиус с готовностью улыбается в ответ, не разжимая губ, потом отворачивается и идет на другой конец комнаты. Мальчики расступаются перед ним, как Красное море перед Моисеем. Там, на краю одной из ванн, стоит массивный фонарь, удивительно похожий на железного ворона. Такими фонарями – с колпаком, направляющим луч в одну сторону, – обычно пользуются на железной дороге. Джулиус открывает его, зажигает спичку, подносит пламя к фитилю. Поворот вентиля, шипение спички, встретившейся с маслом, – и из фонаря выстреливает луч густого ярко-желтого света, прямоугольный, как окно в другой мир.

Джулиус берет его за ручку и идет обратно. Качаясь, фонарь подсвечивает тела и бледные лица, вытягивает их из мрака по одному и отделяет от остальных. Томас тоже чувствует на себе луч и сжимается; он видит, как из-под его ног вырывается длинная тень, словно ищет, куда спрятаться. Ему приходит в голову, что Джулиусу было необязательно оставлять фонарь так далеко от стула, что все это – торжественный проход через умывальню, разжигание огня, неспешное возвращение – часть давно продуманного представления. Продумано и то, как он вытягивается во весь рост, чтобы подвесить лампу на металлический крюк, который будто случайно вбит в потолок именно в этом месте, в двух шагах от стула. Джулиус наклоняет фонарь так, что Коллингвуд оказывается в параллелограмме света с резкими, будто прочерченными по линейке гранями. Свет почти полностью раздевает его, проникая сквозь хлопчатобумажную ткань ночной сорочки: можно различить темные пятна сосков и изогнутые поперечины узкой грудной клетки. Лицо Коллингвуда напряжено, но спокойно. Томас не может сдержать восхищения, хотя нередко принимал наказание от старосты. Требуется невероятное самообладание, чтобы выдержать слепящий свет этого фонаря. Он такой яркий, что кажется, будто веснушки Коллингвуда оторвались от его кожи и висят в четверти дюйма от щек.

– Итак, начнем?

Коллингвуд отвечает не сразу – у него пропал голос. Наконец звучит ритуальная фраза:

- Прошу, сэр. Испытайте меня.
- Вы готовы подвергнуться испытанию?
- Готов. Да будут изобличены мои грехи.
- Они должны быть и будут изобличены. Хвала дыму!
- Хвала дыму!

И затем все, хором:

- Хвала дыму!

Даже Томас двигает губами, повторяя ненавистную формулу. Он узнал ее только в школе. С тех пор не прошло и шести недель, но слова уже вросли в него, поселились у него на языке. Вероятно, избавиться от них можно будет, лишь вырезав их ножом.

Начинается допрос. Голос Джулиуса звенит в большом помещении. У него приятный голос, размеренный, глубокий. Когда надо, он звучит как голос любимого дядюшки. Как голос родного брата. Как голос друга.

– Вы староста, Коллингвуд, – говорит Джулиус. Это в его стиле: начать с чего-нибудь безобидного. И заставить тебя потерять бдительность. – Сколько времени прошло с тех пор, как вы заняли эту почетную должность?

- Один год и семестр, сэр.

– Год и семестр. И вы довольны своим положением?

- Я рад служить.

– Вы рады служить. Прекрасный ответ. Вы добросовестно исполняете свои обязанности, не так ли?

- Стараюсь, сэр.

– И как вы относитесь к тем мальчикам, за которыми обязаны присматривать?

- Отношусь к ним... сэр? По-доброму. С симпатией.

– Ага, очень хорошо. Хотя порой они ведут себя как настоящие разбойники.

– Полагаю, сэр, они ведут себя настолько хорошо, насколько это в их силах, сэр.

- Одного «сэр» достаточно, Коллингвуд.

Джулиус ждет, пока в комнате не смолкнет краткий всплеск хихиканья. Он стоит сбоку от фонаря, лицо его находится в тени. Весь мир свелся к одному юноше и одному стулу. Коллингвуд ерзает, его сорочка задирается, так что приходится натянуть ее на колени. Делает он это неловко. Его сжатые кулаки не желают разжиматься.

– Но вам ведь нравится наказывать их, ваших юных подопечных, которые послушны настолько, насколько это в их силах. Иногда вы наказываете их весьма жестоко, как я слышал. Не далее как вчера многие мальчики видели, как вы производили порку. Двадцать один удар. Школьной сестре милосердия пришлось обрабатывать шрамы.

Коллингвуд покрывается потом, но такой допрос он способен выдержать.

– Все, что я делаю, – говорит он, – я делаю ради их же блага. – И добавляет, с легкой рисовкой: – От этих наказаний я страдаю больше, чем они.

- Так, значит, вы любите этих мальчишек.

Коллингвуд колеблется. «Любовь» – сильное слово. Потом он решается:

- Я люблю их как отец.

- Очень хорошо.

Вплоть до этого момента нет ни намека на дым. Рубашка Коллингвуда остается незапятнанной, воротничок как новый, под мышками мокро от пота, но чисто. И при этом среди мальчиков нет ни одного простака, который принял бы слова Коллингвуда за чистую правду. Законы дыма сложны. Не каждая лож пробуждает его. Мимолетная недобрая мысль может остаться без последствий, как и выдумка, отговорка, лесть. Иногда ты врешь совсем уж откровенно, но кара минует тебя. Всем с детства знакомо это чувство: расспрос, учиненный мате-

рю, или гувернанткой, или наставником; ты говоришь неправду, осторожно выталкивая ее губами, ладони потеют, внутренности закрутились в узел, подбородок вздернут в знак притворной твердости; а потом тебя захлестывает сладкое облегчение – дым не приходит. В других случаях дым появляется после таких ничтожных прегрешений, что ты их едва осознаешь: рука, протянутая к печеню до того, как его предложили взять, ухмылка при виде слуги, поскользнувшегося на только что натертых ступенях. Раз – и в нос ударяет вонь. Нет в мире более ненавистного запаха, чем запах дыма.

Но пока Коллингвуд чист. Он с честью выдерживает испытание. Вот только Джулиус еще не закончил и по-прежнему стоит, придерживая рукой фонарь под нужным углом. Кажется, что его голос льется вместе со светом.

– У вас не так давно умер брат?

Вопрос застигает Коллингвуда врасплох, но не столько пугает его, сколько причиняет боль. Он тихо отвечает:

– Да.

– Как его звали, вашего брата?

– Люк.

– Ах да. Люк. Я помню, вы рассказывали о нем. О том, как вы вдвоем играли в раннем детстве. – Джулиус не спускает с Коллингвуда глаз. Тот съезживается. – Напомните-ка мне. Как умер Люк?

Тот явно не желает отвечать, но наконец произносит:

– Он утонул. Выпал из лодки.

– Понятно. Какая трагедия. Сколько ему было?

– Десять лет.

– Десять? Совсем юный. Сколько ему оставалось до одиннадцати?

– Три с половиной недели.

– Не повезло.

Коллингвуд кивает и начинает плакать.

Томас понимает его. Дети рождаются в грехе. Большинство младенцев в первые же минуты жизни чернеют от дыма и сажи; каждая постель, где произошли роды, и каждая колыбель окружены темным облаком стыда. Вся знать и состоятельные простолюдины отдают новорожденного няне или кормилице, и та растит его до тех пор, пока в нем не начнет созревать Добро – к трем-четырем годам. Иногда семья полностью отказывается от контактов с ребенком до шести или семи лет, из любви к нему, дабы не возненавидеть его. Дым терпят в детях до одиннадцати лет; даже в Священной книге говорится, что до этого возраста милость нисходит только на святых. Если ребенок умирает раньше, считается, что он умирает как грешник и попадает в ад. Но (слава Пресвятой Деве) этот детский ад не так страшен, как ад для взрослых. В книжках с картинками он часто изображается наподобие больницы или школы, с длинными-длинными коридорами и бесконечными рядами узких белых кроватей. У Томаса была такая книга в детстве, и он рисовал в ней цветные пятна, людей, странных ходячих птиц с огромными хвостами, выглядевшими как шлейф невесты. Во многих старинных семействах к ребенку, начиная с десяти лет, приставляют особого слугу, чья единственная обязанность – оберегать жизнь юного хозяина. Если слуга с ней не справляется, его казнят. Таких слуг называют «грачами», потому что они одеты во все черное. Часто за ними тянется, словно проклятие, их собственный дым.

Джулиус дает мальчикам время, чтобы почувствовать, как горька для них смерть маленького Люка. Должно быть, ему нелегко придерживать тяжелый и горячий фонарь, однако он проявляет терпение.

– Люк был один? Тогда, в лодке?

Коллингвуд произносит что-то едва слышное. Теперь в его глазах нет слез. Он по-прежнему сидит в ночной сорочке, но за последние несколько минут его обнажили, сняли тот защитный слой, который у всех имеется поверх кожи.

– Ну же, давайте, приятель. Выкладывайте. Кто с ним был? Кто сидел в лодке с вашим десятилетним братом, когда он утонул?

Но Коллингвуда словно заперли на замок. С его дрожащих губ не слетает ни слова.

– По-видимому, вы забыли. Я помогу вам. Разве не ваш отец находился тогда в лодке? Говорят, что он был пьян и спал во время происшествия, пробудившись только тогда, когда слуги нашли лодку – у зарослей камыша, в трех милях ниже по течению.

– Да, – говорит Коллингвуд, вновь обретая дар речи. Нет, не говорит, а почти выкрикивает – голос звучит на октаву выше, чем минуту назад.

– И, – спрашивает Джулиус, парируя выкрик едва слышным шепотом, – вы продолжаете любить отца так, как велит делать Священная книга?

Коллингвуду не нужно отвечать. За него это делает дым. Сначала там, где взмокшая от пота сорочка прилипла к телу, возникает черное, зловещее пятно, размером не больше монетки в один пенни, потом другое, третье... Кажется, что тело Коллингвуда кровоточит чернилами. Затем появляются первые завитки дыма, которые вытекают из тех мелких темных пятен и падают хлопья сажи.

Коллингвуд роняет голову на грудь и сотрясается от дрожи.

– Надо учиться владеть собой, – говорит Джулиус, очень мягко, и отпускает фонарь. – Можете идти. Все хорошо.

Никакого наказания нет, точнее – нет наказания от Джулиуса. Пятна на сорочке Коллингвуда отойдут только после многочасового вымачивания в крепком щелоке. Весь щелок, имеющийся в школе, хранится в прачечной и тщательно оберегается. Когда Коллингвуд наутро сдаст белье в стирку, сорочку опознают по монограмме и его имя запишут. Мастер этики и дыма вызовет Коллингвуда, и между ними произойдет разговор, очень похожий на тот ночной допрос. Родителям отошлют уведомление, а на ученика наложат взыскание. Возможно, Коллингвуд расстанется со званием и привилегиями старосты; возможно, его заставят мыть уборную учителей или составлять каталог библиотечных книг в свободное время. Возможно, ему не позволят поехать на экскурсию с остальными учениками.

Вставая со стула, он не гневается и смотрит на Джулиуса, словно только что побитый пес. Он хочет увериться, что его все еще любят.

Томас смотрит вслед уходящему Коллингвуду дольше остальных. Если бы он мог, то побежал бы за ним и сел рядом, но молча. Он не смог бы подобрать нужных слов. А вот Чарли смог бы, Чарли мастерски управляет со словами, да и не только с ними. Судьба одарила его нежным сердцем, поэтому он способен проникаться чувствами других и говорить с ними прямо, на равных. Томас оборачивается к другу, но взгляд Чарли устремлен на Джулиуса. Этой ночью испытание предстоит еще нескольким мальчикам. Сейчас из мешка вынут следующий листок; сейчас зачитают второе имя.

Все зовут его Рохлей, но вообще-то, он – Хаунслоу, девятый виконт. Пожалуй, ему нет и двенадцати, это один самых юных пансионеров. Он худой, но по-детски пухлощекий. Когда он подходит к стулу и поворачивается, чтобы сесть, страх скручивает его кишки и заставляет пустить газы. Звук долгий, протяжный: кажется, он никогда не закончится. Трудно представить себе что-то ужаснее этого: бесконечный пук в комнате, полной школьников. Однако ни улюлюканья, ни издевок не слышно, только у нескольких человек слетает с губ короткий нервный смешок. Не требуется обладать талантами Чарли, чтобы проникнуться сочувствием к Хаунслоу. Его так трясет, что он едва выговаривает положенную фразу:

– Прошу, сэр. Испытайте меня.

Детский тонкий голос переходит в писк. Хаунслоу пытается произнести «Хвала дыму», но выходит так плохо, что из его глаз льются слезы отчаяния, катясь по круглым щекам. Томас бросается к Хаунслоу, но Чарли его останавливает – мягко, ненавязчиво кладет ладонь ему на плечо. Они обмениваются взглядами. У Чарли необыкновенный взгляд: такой простой, такой честный, что забываешь спрятаться за своей ложью. И правда, что сделает Томас, если Чарли отпустит его? Вмешательство в испытание равносильно бунту против самого дыма. Но дым настоящий, вещественный: при желании можно видеть и нюхать его хоть каждый день. Как бунтовать против факта? Поэтому Томас должен остаться на месте и наблюдать за тем, как Хаунслоу бросают на растерзание волкам. Только этот волк одет в белое и направляет лампу на мальчика, ослепляя его; тот мигает.

– Скажите мне, – начинает Джулиус, – вы хорошо себя вели?

Хаунслоу в ужасе мотает головой, и в комнате раздается звук, очень похожий на стон.

Но, как ни странно, мальчик переносит процедуру, не исторгая ни единого клочка дыма. Он отвечает на все вопросы – отвечает медленно. Кажется, что от страха язык его распух и высовывается изо рта между ответами.

Любит ли он своих учителей?

Да, любит.

А своих соучеников, свои книги, свою койку в дортуаре?

О да, любит, и больше всего – школу.

Тогда какие грехи отягощают его совесть?

Грехи слишком тяжкие и многочисленные, чтобы назвать их.

Однако он их называет, принимая на себя все прегрешения, какие только может придумать, и в конце концов приходит в ужас сам от себя. Если он не справился с контрольной по латыни в прошлый понедельник, то это потому, что он «бездельник» и «тупица». Если он подрался в школьном дворе с одноклассником по фамилии Уотсон, то это потому, что он, Хаунслоу, «злой» и «звереныш». Если он описался в постели, то лишь потому, что он «гадкий» и был таким с рождения, вот и мать его говорит то же самое. Преступник, подлец, тварь.

– Я грязный, – выкрикивает Хаунслоу, уже почти в истерике, – грязный. – И все это время его ночная сорочка остается белой. Ни крупички сажи на кружевной оборке.

Испытание продолжается десять минут. Наконец Джулиус отпускает лампу и целует мальчика в голову, прямо в макушку, как епископ – школьного капеллана. И когда Хаунслоу поднимается, на его лице отражается нечто большее, чем облегчение. Триумф. Сегодня, этой ночью, он вошел в число избранных. Он унился, признался во всем, что лежало на его совести (и кое в чем сверх того), и дым счел его чистым. А значит, если завтра он расквасит Уотсону нос, это будет лишь актом правосудия. Джулиус смотрит ему вслед с горделивым удовлетворением. Потом он роется в мешке. И называет третье имя, последнее на сегодня. Это точно не будет Купер (фамилия Чарли). Чарли – будущий граф, один из самых знатных людей страны. Как дали понять Томасу, сильные мира сего редко вызываются для испытания.

– Аргайл.

Фамилия Томаса.

Нельзя сказать, что он этого не ждал.

Море учеников перед ним разделяется надвое, словно разрезанное веслом. Рука Чарли на миг сжимает его локоть, и вот он уже идет. Потом Томас будет дивиться своей неуместной торопливости, отсутствию всякой воли к сопротивлению, станет ругать себя за трусость. Но сейчас в его взгляде сквозит не трусость, совсем наоборот: он жаждет сразиться. Он вскидывает подбородок навстречу свету, и кажется, будто он забирается на боксерский ринг. Джулиус тоже замечает это.

И улыбается.

Свет ослепляет. За его пределами комната перестает существовать. Нет возможности посмотреть на Чарли в поисках совета или поддержки: Чарли растворился в темноте, а он, Томас, залит желтым сиянием. Даже Джулиус, стоящий в двух шагах от него, – всего лишь тень из иного мира.

Томас начинает осознавать кое-что еще. Свет делает его голым. Не выставленным напоказ, не беззащитным, а в буквальном смысле раздетым: каждая ниточка в одежде стала бесплотной, точно испарилась. Само по себе обнажение не так уж много для него значит. Дома он часто раздевался, купаясь с друзьями в реке, а здесь каждый день надевает ночную сорочку в дортуаре – без малейшего стеснения. Но тут иное. Свет обособляет его. Он сидит голый в помещении, полном одетых людей. И Томаса это злит настолько, что он сам удивляется.

– Начинайте, – хрипло говорит он, потому что Джулиус медлит: стоит, чего-то ждет, поправляет лампу. – Давайте. Я готов пройти испытание. И хвала дыму! А теперь спрашивайте. – Сиденье стула наклонено вперед, понимает Томас. Чтобы не соскользнуть, приходится упираться в пол ногами.

Джулиус невозмутимо встречает эту вспышку:

– Какие мы нетерпеливые. Хотя в школу вы не спешили поступать. И с выполнением уроков тоже не торопитесь.

Он снимает фонарь с крюка, подносит его ближе, останавливается прямо перед Томасом и направляет на него луч.

– Знаешь, – выговаривает Джулиус почти одними губами, так что слышать его может только Томас. – Я уже сейчас вижу твой дым. Он сочится из каждой поры. Это отвратительно... Но если вас снедает нетерпение, – продолжает он уже громче, звучно и абсолютно хладнокровно, как и подобает опытному оратору, – пойду вам навстречу. Я облегчу задачу и задам всего один вопрос. Вас это устроит?

Томас кивает и напрягается всем телом, словно ожидает удара. Это потом Чарли объяснит ему, что лучше расслабиться и поглотить удар, как поглощает его вода.

– Тогда приступайте. Задавайте свой вопрос.

– Так, так.

Джулиус начинает говорить, останавливается, перебивает себя; он ненадолго разворачивает фонарь, и луч пляшет по головам мальчиков. Томас полсекунды видит Чарли – слишком мало, чтобы прочитать выражение его лица. Потом луч снова впивается ему в глаза.

– Видите ли, – продолжает Джулиус, – вопрос, который я хочу задать, идет не от меня. Он волнует всех. Вся школа хочет узнать ответ. Все, кто стоит здесь. И даже учителя. И даже ваш друг, хотя вряд ли он признается в этом. Вот он, вопрос: что в вас такого мерзкого, невыразимо гнусного, из-за чего ваши родители нарушили все традиции, пошли против здравого смысла и прятали вас от мира до самого шестнадцатилетия? Или, – продолжает он медленнее, тщательно выговаривая каждый слог, – нечто низменное, отвратительное есть в *них* и они боялись, что вы откроете их секрет?

Вопрос попадает в цель: это оскорбление (ему, его семье, всему, что для него свято), но, кроме того, это правда, это призрак, преследовавший его полжизни. Вопрос пробивает его защиту и вонзается в сердце, пробуждая страх, и гнев, и стыд. Дым появляется задолго до того, как Томас замечает это. Он словно горит, горит заживо, без всякой причины. Потом он понимает, что значит этот дым: в нем живет ненависть. В его сердце таится убийство.

Другой пансионер съезжил бы от позора, Томас же вскакивает, бросается на Джулиуса, выставив голову вперед, и фонарь летит на пол. Пламя не угасло и освещает их схватку с одной стороны. Мальчикам, наблюдающим за сценой, они кажутся единой тенью, растянувшейся по стене до самого потолка, двухголовой, чудовищной. Но для этих двоих все предельно ясно.

Томас дымит, как груда мокрых углей. Его руки сжались в кулаки, осыпающие Джулиуса ударами. Его рот изрыгает проклятия.

– Ты ничто, – повторяет он, – ничто. Пес, грязный пес, ничтожество.

Кулак попадает Джулиусу в подбородок, и что-то выпадает изо рта – очевидно, зуб, черный, гнилой коренной зуб: он выскакивает, словно конфета, которой поперхнулись. Появляется кровь, дыма становится еще больше, и этот дым идет из кожи Джулиуса, такой черный и ядреный, что весь гнев Томаса улетучивается.

Джулиус мгновенно берет верх. Он на два с лишним года старше и к тому же сильнее и поэтому отбрасывает соперника. Но вместо того, чтобы ударить Томаса, он падает на него, обрушивается на пол, прижимается всем телом, подкатывает его к фонарю так, что тот переворачивается и наконец гаснет. И тогда Томас догадывается, что делает Джулиус. Он втирает свой дым в Томаса, а дым Томаса – в себя. Потом он будет утверждать, будто его запачкал Томас, а сам он оставался безупречным на протяжении всей схватки. Теперь же, в темноте, он берет Томаса за горло и сдавливает с такой силой, что Томас уверен: ему не выжить.

Джулиус предусмотрительно отпускает его в тот момент, когда другие мальчики подходят ближе, желая получше все разглядеть. Он встает, отряхивается и демонстрирует полное самообладание. Томас же, полумертвый, остается лежать на полу. Только Чарли склоняется к нему, утешает и помогает вернуться в дортуар.

Чарли

Если у тебя нет щелока, справиться с сажой можно только при помощи мочи. Это отвратительно, знаю, но что поделать: в ней есть вещество, которое растворяет сажу. И вот той же ночью, когда все ушли спать, мы с Томасом пробираемся в умывальню, бросаем его сорочку в ванну (ту, в которой изволил мыться Джулиус), пьем из-под крана воду, пинту за пинтой, и по очереди мочимся на сорочку. О том, чтобы избавиться от нее, и речи быть не может. Об этом сразу узнают: все предметы одежды тщательно учитываются. Томаса немедленно исключают из школы – раз и навсегда.

Я никак не могу нарисовать верный портрет Томаса. Он не высокий и не низенький, не полный и не худой, волосы не выются, но и совсем прямыми их не назовешь. Получается, что он никакой, а ведь все как раз наоборот. Томаса невольно замечаешь, едва он входит в дверь. В нем есть необычное напряжение. Будто к его груди привязан бочонок с порохом. Это видно и по его лицу. Он *смотрит* на вещи, смотрит по-настоящему. И на людей тоже. Оценивает их. Не столько судит, сколько пытается познать их, схватить их суть. Большинство людей ведут себя иначе. Думаю, я единственный его друг в школе – на двести учеников. Правда, часть их живет в отдельном здании на другом конце двора, и еще несколько человек приходят из местной деревни только на день. Это сыновья богатых бюргеров, которые здесь только учатся – «нравственное воспитание» не для них. Бюргерам позволительно дымить время от времени. Иного от них и не ждут.

Казалось бы, я должен был невзлюбить Томаса. За то, что у него темная душа. За то, что он попадет в ад, если не исправится. Ведь это правда, дым не лжет. В нем живет зло, как в куске тухлого мяса живут черви. Но, понимаете, все это существует лишь на одном уровне, на уровне взрослых рассуждений и выводов, там, где царят наука, теология, законы придворной жизни. Есть и другой уровень, у меня нет для него названия, и вот на этом уровне я дружу с Томасом. Все очень просто.

Что до меня, то в зеркале я вижу высокого, угловатого парня; моя сестра сказала бы – «костлявого». С рыжими волосами. Точнее, не рыжими, а цвета темной меди, очень коротко постриженными. Кожа у меня довольно темная. Говорят, что во мне течет иноземная кровь, что такие волосы и кожа встречаются к востоку от Черного моря, где в бескрайних степях по-прежнему кочуют дикие племена. Но это чушь, потому что моя семья насквозь английская. Я принадлежу к старинному и весьма знатному роду. Очень знатному. У нас висят картины, изображающие отца на охоте вместе с сыновьями королевы. Но довольно об этом. Если вы хотите знать, считают ли меня девочки красавчиком или уродом, спросите их самих. Мне не нравится мой нос, слишком крупный, и я не смогу поправиться, даже если буду питаться одними пудингами. В регби я безнадежен, зато могу бегать по полям хоть целый день. Томас говорит, что я наполовину олень. В таком случае он, должно быть, барсук: когда за ним гонятся собаки, он оборачивается к ним и оскаливает зубы. В отличие от меня, он не знает, когда нужно давать стрекача.

Подружились мы как-то сразу. Томас прибыл в конце октября. Конечно, это странно. Он опоздал к началу семестра на пять недель. А еще возраст. Шестнадцать лет. Да, иногда мальчиков переводят сюда из менее престижных школ, чтобы они «приобрели лоск» и завели знакомство с будущими правителями государства. Но Томас не учился нигде. Он был на «домашнем обучении». Никто не понимает, как такое стало возможным. Поговаривали даже, что это незаконно. По слухам, родители не хотели отпускать его в школу и всячески противились этому, пока сыну не исполнилось одиннадцать. Они бедняки, как мне кажется, хотя и достаточно благородных кровей, и живут на самом севере королевства. Рука власти дотягивается до этих мест,

но не настолько сильна, как в центральных графствах. И вот он здесь, этот дикий мальчик. Кажется, что его подобрали и вырастили лисы.

Но он не любит рассказывать о себе. Даже в разговорах со мной.

Приехал он один: с ним не было ни родителей, ни брата, ни сестры, ни даже слуги, несущего вещи. Он просто вышел из почтовой кареты, в которую сел на оксфордском вокзале. Котомка за плечами и по саквоюжу в каждой руке – таким я впервые увидел его, когда вышел прогуляться в свободный час после обеда. Он стоял у внутренних ворот, с поднятым подбородком, и устало слушал привратника: тот говорил с ним грубым простонародным языком, почти орал, допытываясь, кто он такой.

– Это новый ученик, – сказал я. – Как раз вчера для него принесли койку в дортуар. Я провожу его, если хотите.

Томас молчал до самого дортуара. Я показал ему, где стоит его кровать – у окна, там никто не хотел спать из-за сильного сквозняка. Он опустил на пол багаж, выпрямился, посмотрел на меня и спросил:

– Как здесь живется?

Я хотел сказать какой-нибудь пустяк – вроде того, что в школе он будет чувствовать себя как дома, волноваться не о чем. Потом я обратил внимание на выражение его лица. Оно было красноречивым: «Не ври, не пустословь, не заговаривай мне зубы, иначе я буду вечно презирать тебя».

Поэтому я выдал правду.

– Как в тюрьме, – сказал я. – За которую платят наши родители.

Он улыбнулся и сказал, что его зовут Томас.

С тех пор мы друзья.

Экскурсия

Наказания приходится ждать долго.

На следующий день бывает стирка, и у Томаса нет выбора: утром мокрая, вонючая сорочка летит в корзину вместе с нижним бельем и простынями. Пятна сажи поблекли, но не исчезли.

Томаса никак не утешает то обстоятельство, что он не один: многие другие мальчики бросают в растущую гору одежду с черными пятнами. После каждого проступка выделяется сажа особого вида, и искушенный в таких делах человек может определить тяжесть преступления по облику пятна, по тому, насколько оно плотное и жирное. Вот почему в день стирки не бывает уроков этики и дыма: доктор Ренфрю, преподающий этот предмет, проводит все утро в своем кабинете, перебирая белье учеников. Список тех, кто сочтен виновным в «нечистых помыслах и действиях», выставляется в стеклянной витрине еще до обеда, чтобы каждый школьник мог узнать, какое наказание ему определено. Два дня дежурства в обеденном зале; переписывание трех страниц из «Второй книги дыма», публичное извинение на школьном собрании – это все для мелких прегрешений. Более серьезные требуют отдельного разбирательства. Виновного призывают в кабинет мастера этики и дыма, где ему предстоит ответить за свои грехи. Там установлено кресло, обтянутое кожей и снабженное ремнями. Мальчики между собой называют его «зубоврачебным». Но в нем вытаскивают не зубы, а правду. Однако при вопиющих отступлениях от надлежащего порядка даже эта процедура считается недостаточной. В подобных случаях устраивают «трибунал». Томас знает об этом только понаслышке. За те недели, что он провел в школе, трибунала не было ни разу.

В классе Томас ведет себя рассеянно и получает выговор, когда не может перечислить четыре первоначала бытия согласно Аристотелю. Зато их бойко выпаливает другой ученик. Его не спрашивают, что означают эти четыре первоначала, как они применяются или какая от них польза; не спрашивают и о том, кто такой Аристотель, хотя в школьном коридоре стоит его мраморный бюст, неподалеку от портрета лорда Шрусбери, почетного основателя школы. Да и в целом, как уже уяснил Томас, здесь больше заинтересованы в форме, чем в содержании, и от учеников требуется только зазубривать имена, даты и числа – так, чтобы они отскакивали от зубов. Пока что Томас считается весьма нерадивым учеником.

Во время обеда он едва прикасается к еде. Школьная столовая по форме и размерам напоминает часовню; в ней стоит жуткий холод. Декабрьские метели забросали окна снегом. Снаружи стекла укрыты белой пеленой, которая высасывает из редких солнечных лучей все тепло. С внутренней стороны из уголков металлических рам сочится холодная вода. Лужицы на полу замерзают и въедаются в некрашенные доски.

Обед состоит из ломтя жесткого мяса, скрытого под кучкой едва теплого гороха. Каждый кусок, который Томас подносит ко рту, на вкус как грязь; дважды он по ошибке принимается жевать вилку, и ее зубья больно колют язык. Посреди трапезы за стол Томаса присаживается Чарли, которого задержал после урока учитель. Наконец тощий дежурный оделяет его порцией малосъедобного окорока с желтоватой гороховой размазней.

– Что-нибудь слышно? – спрашивает он.

Томас качает головой:

– Ничего. Но ты только посмотри на них. Они все этого ждут. И ученики, и учителя. Всем не терпится увидеть второй акт.

Его голос звучит озлобленно, и вслед за словами из ноздри вырывается тонкое облачко дыма, слишком прозрачное, чтобы оставить после себя сажу. Чарли тут же разгоняет его ладонью. Он ничуть не встревожен. Почти никому не удается прожить день без единого проступка.

Порой даже можно заметить, как учитель прикрывает ладонью струю дыма, льющуюся с его языка. Таких учителей любят больше – из-за своего несовершенства они ближе к ученикам.

– Домой тебя точно не отправят. – Чарли говорит так, будто сам в это верит. – Ты ведь только что приехал.

– Наверное.

– Он просто вызовет тебя в кабинет. Доктор Ренфрю вызовет.

– Скорее всего.

– Тебе придется рассказать все, ничего не скрывая.

И затем Чарли говорит то, о чем Томас думает с самого утра, но не смеет произнести вслух.

– Иначе тебя могут не взять на экскурсию.

Томас кивает, но ответить не может: во рту у него разом пересохло.

Экскурсия – только о ней он и слышит с момента прибытия в школу. Это исключительное событие: ничего подобного не случилось почти тридцать лет. Судя по слухам, на возобновлении экскурсий настоял Ренфрю, которому пришлось выдержать яростное противодействие со стороны учителей, родителей и даже совета управляющих. В этом нет ничего удивительного. Мало кто из приличных людей рискнет отправиться в Лондон. Намерение повезти туда школьников кажется странным, а то и вовсе безумным. Звучали предостережения о том, что экскурсия подвергнет опасности всю школу, что ее участники могут вообще не вернуться.

Томасу до сих пор трудно шевелить языком.

– Я хочу ехать, – вот все, что он способен выдать из себя, прежде чем зайтись в приступе сухого кашля. Но слова не полностью передают его чувства. Ему *нужно* увидеть Лондон. Мысли об экскурсии – единственное, что поддерживает его все последние недели. Услышав о ней, Томас сразу решил, что его пребывание в школе, наверное, имеет смысл, преследует некую высшую цель. Вряд ли он может точно сказать, чего ждет от поездки в Лондон. Наверное, какого-то откровения. Или объяснения того, как устроен мир.

Кашель сходит на нет, захлебывается в ругательстве:

– Эта сволочь Джулиус. Убил бы подонка.

У Чарли такое честное лицо, что больно смотреть.

– Если ты не сможешь поехать, я тоже не...

Томас прерывает его – мимо шествуют несколько учителей. Они оживленно беседуют, но переходят на шепот, поравнявшись с мальчиками. По лицу Томаса пробегает тень неприязни, за которой вновь следует бледный, тонкий дым. На секунду его язык окрашивается черным, но Томас проглатывает сажу. Если делать это часто, дыхательное горло огрубеет, а миндалины и все, что за ними, начнет темнеть. В классе естествознания есть стеклянная банка с человеческим легким – таким черным, будто его обмакнули в деготь.

– Погляди, как они шепчутся. Им это нравится! Нравится мучить меня неизвестностью! Разве нельзя было сразу все сделать? Сразу вынести мне чертов приговор!

Но Чарли мотает головой, наблюдая за учителями, которые толпятся около дверей.

– По-моему, они говорят не о тебе, Томас. Происходит что-то еще. Я заметил это раньше, когда ходил в привратницкую, чтобы проверить почту. Там был мастер Фойблс. Он беседовал с привратником Крукшенком, что-то выпрашивал. Оба чего-то ждали – кажется, послания. Причем важного. Фойблс выглядел очень взволнованным. Он все время повторял: «Ты мне сообщишь, да? В ту же минуту, как привезут». Словно боялся, что Крукшенк спрячет это – уж не знаю, что именно.

Томас размышляет над сказанным.

– Может, это нужно для экскурсии?

– Не знаю, – задумчиво отвечает Чарли. – Если да, лучше бы его привезли сегодня. Отложив экскурсию, они в конце концов вообще отменят ее.

С ножом и вилкой он принимается за еду – так яростно, будто мясо чем-то обидело его. Гороховая размазня летит во все стороны. Томас, ругнувшись вполголоса, возвращается к своему обеду. Оставлять еду на тарелке запрещено правилами, это влечет за собой отдельное наказание, словно объедки – свидетельство выделения какого-то невидимого дыма.

Его вызывают после вечерней молитвы.

Посылают за ним не кого-нибудь, а самого Джулиуса. Томас видит издали, через весь коридор, как тот идет – с ухмылкой на лице, чуть ли не пританцовывая. Джулиус не говорит ничего. Ну да слова и не нужны, достаточно жеста – взмаха рукой от груди, который заканчивается указанием на другой конец помещения. Джулиус изображает официанта, якобы приглашающего Томаса к столу. Потом он идет обратно, очень медленно, держа руки в карманах, и по пути велит младшим ученикам открыть перед ним дверь.

Он делает все, чтобы каждый знал о происходящем.

Томас вынужден идти так же медленно. Он пойман в ловушку и приноравливается к этой неспешной, вальяжной походке, такой, будто в мире нет ни спешки, ни тревог. Этого достаточно, чтобы у него вскипела кровь. Он ощущает дым на своих губах и гадает, видно ли его со стороны. Сейчас рубашка скрыта под темной накидкой, но вскоре эту накидку, конечно же, попросят снять и показать нижнее белье. Томас старается успокоиться и слизывает кончиком языка сажу с зубов. Она такая горькая, что едва не вызывает приступ рвоты.

Чем ближе они подходят к двери доктора Ренфрю, тем сильнее замедляет шаг Джулиус. Мастер этики и дыма – это новая должность, учрежденная меньше года назад. Раньше за все нравственное воспитание отвечал мастер религии: так рассказывал Чарли. Тем временем они оказываются напротив двери. Джулиус останавливается, ухмыляется и качает головой. Потом он идет дальше, чуть быстрее прежнего, и машет Томасу – «не отставай».

Томас не сразу понимает, что это значит. Ему не придется беседовать с доктором Ренфрю. Его не ждет зубоврачебное кресло. Все гораздо хуже. Они направляются в сторону директорского кабинета.

Значит, трибунал.

От одного этого слова ему становится дурно.

Джулиус не стучит, когда они останавливаются перед дверью, и этим озадачивает Томаса, но все быстро разъясняется. Зайдя внутрь, они оказываются не в кабинете, а в помещении вроде прихожей или приемной врача, с двумя длинными скамьями по обе стороны и окнами справа – от них тянет ледяным сквозняком. Кабинет расположен высоко, в одной из башен школы. Внизу тянутся оксфордширские поля: серебристое море замороженного лунного света. Вдали, у ручья, из-под снега торчит одинокое дерево, раздетое догола зимними ветрами. Это ива, ветви которой доходят до самой воды и поэтому попали в ледяной плен. Дрожа от холода, Томас отворачивается и видит, что дверь в коридор изнутри обита толстым слоем войлока. Конечно, для того, чтобы защитить директора от школьного шума. И чтобы никто не услышал твоих криков.

Джулиус встает у следующей двери, негромко стучит в нее – с уверенностью и тактом, приличествующими старшему ученику. Дверь открывается почти мгновенно, и появляется лицо Ренфрю в обрамлении светлых волос и бороды.

– Вы здесь, Аргайл. Хорошо. Посидите. – Потом, заметив, что Джулиус намерен уйти, он добавляет: – Вы тоже.

Ренфрю закрывает дверь, и Джулиус не успевает спросить, зачем ему нужно остаться.

Они сидят на противоположных скамьях: Томас – спиной к окнам, Джулиус – лицом к ним и луне, что дает Томасу возможность рассмотреть его. А ведь Джулиус слегка поник после

этого «Вы тоже». Развязность и уверенность в том, что ему принадлежит весь мир, куда-то делись. Похоже, он покусывает губы. Это милостивый молодой человек, вынужден признать Томас, белокожий и темноволосый. Он ждет, когда Джулиус встретится с ним взглядом, и нагибается к нему:

– Не болит? Зуб, я имею в виду.

Джулиус отвечает не сразу, скрывая свои эмоции, в чем он изрядно преуспел.

– Тебя ждут серьезные неприятности, – говорит он наконец. – Я здесь только как свидетель.

Вероятно, так и есть, но все же Джулиус выглядит слегка встревоженным, и Томас не может сдержать торжества по случаю этой маленькой победы. Прошлой ночью они с Чарли, стирая сорочку, заодно попробовали отыскать зуб, но не нашли. Должно быть, Джулиус сам его подобрал, а жаль, получился бы славный сувенир. Но то было вчера, а теперь он сидит здесь с потными ладонями и с трудом изображает спокойствие. Надо ждать. Насколько проще было бы подраться, Томас согласен даже на поражение: кулак в лицо, кровь из носа, мешок со льдом на синяки. Он откидывается назад и с усилием расправляет плечи. Луна – единственный источник света в узкой прихожей. Когда ее закрывает облако, комната погружается во мрак. Теперь Джулиус – не более чем тень, чернее сажи.

Проходит не менее четверти часа, прежде чем Ренфрю велит им войти. Их приветствует яркий золотистый свет газовой лампы; звук шагов гложет в толстом ковре. Здесь собрались все наставники. Их семеро: Ренфрю, Фойблс, Хармон, Суинберн, Барлоу, Уинслоу, Траут, – но только трое имеют реальный вес. Ренфрю высок, хорошо сложен и относительно молод. Волосы и бороду он стрижет коротко и предпочитает носить темный приталенный костюм, который облекает его от шеи до щиколоток, словно футляр. На горле туго повязан белый шелковый шарф, удостоверяющий его добродетель.

Траут, директор школы, очень полный мужчина, носит брюки с такой высокой талией, что масса плоти между бедрами и ремнем полностью скрадывает короткую грудь, хотя та украшена пышными кружевами и рюшами. Недостаток шевелюры Траут компенсирует усами. Нос-пуговка едва заметен между полушариями красных щек.

И наконец, Суинберн, мастер религии. Ренфрю высок, а Суинберн – настоящий великан, хоть и покоренный возрастом. На нем головной убор и сутана соответственно сану. Та малая часть его лица, что видна окружающим, пестрит лопнувшими сосудами, по форме и размерам похожими на цветки чертополоха. Все остальное скрывает борода, длинная и густая.

Ренфрю, Суинберн, Траут: каждый из них, как говорят, вовлечен в дела, связывающие школу с парламентом и короной. Томас часто думает о том, чтобы запечатлеть их на холсте. Он хорошо владеет кистью. Триптих – вот идеальный формат, но пока он не решил, кого поместить в центре.

Ренфрю велит им садиться. Он указывает на два стула посередине комнаты и при этом не проводит между двумя учениками никакого различия. По сравнению со вчерашним испытанием от Джулиуса, весьма театральным, поведение Ренфрю выглядит почти небрежным. Наставники в зимних костюмах из камвольной шерсти стоят группами. У некоторых в руках чайные чашки; Фойблс жует печенье. Томас садится. Чуть поколебавшись, Джулиус следует его примеру.

– Вы знаете, почему вы здесь.

Это утверждение, не вопрос; Ренфрю отворачивается, еще не закончив фразы, и наклоняется к корзине, намереваясь что-то достать из нее. У Томаса есть несколько секунд, чтобы осмотреться. Он видит кожаную кушетку и медный канделябр; оконный витраж со сценами из Писания, на которых святой Георгий пронзает копьём горло дракона; картину с изображением охоты на лис под рябью облаков; видит шкафы, и двери, и буфет с тонким фарфором; он видит все это, но мало что осознает, поскольку мысли не слушаются его, кожа истерзана нервным

зудом, ему тревожно. Страшно. Когда Ренфрю снова поворачивается к ним лицом, он держит в руках две ночные сорочки. Одну он вешает на спинку свободного стула, вторую расправляет на весу, демонстрируя пятна сажи, проводит по ним пальцами, определяя их консистенцию.

И начинает лекцию.

– Дым, – говорит он, – может быть разных цветов. Зачастую он прозрачный и серый, почти белый, и пахнет не сильнее зажженной спички. Есть желтый дым, плотный и сырой, как туман. Синий дым имеет резкий запах, как у прокисшего молока, и растворяется почти сразу после появления. Изредка мы видим черный дым, жирный и вязкий, прилипающий ко всему, чего коснется. Все вариации текстуры, плотности и цвета тщательно описаны в «Четырех книгах дыма», где приведена полная классификация всех сорока трех разновидностей. Установить точную причину появления каждой разновидности дыма гораздо сложнее. Играет роль не только нарушение, но и сам нарушитель. Тот, кто пал действительно низко, источает более темный и густой дым. Когда нравственный недуг заметно усиливается, он окрашивает все поступки человека. Даже самое невинное действие будет...

– Грех, мастер Ренфрю, – прерывает лекцию Суинберн. Его голос, привычный к службам с частотой три раза в неделю, звучит с характерной пронзительностью. Такой голос мог бы принадлежать человеку, съевшему мальчика, который царапнул ногтями школьную доску. – Это грех очерняет душу, а не *болезнь*.

Ренфрю раздражен, но взгляд директора заставляет его проглотить недовольство.

– Ну хорошо, грех. Это не более чем вопрос терминологии. – Он делает паузу, собирает с мыслями, сжимает пальцами ткань сорочки. – Так или иначе, дым легко поддается прочтению. Это живое, материальное проявление порочности. Проявление *греха*. Сажа – совсем иное дело. Сажа мертва. Инертна. Она – косный симптом и поэтому непостижима. Любой проstack может сказать, сколько ее на этой сорочке, какова она – мягкая, как морской песок, или зернистая, как дробленый кирпич. Но это грубые оценки. Требуется более научный подход, – Ренфрю разглаживает свой сюртук, – чтобы произвести более сложный анализ. Целое утро я провел, склонившись над микроскопом, изучая образцы с обеих сорочек. Есть определенные растворители, которые могут преодолеть инертность вещества и, так сказать, на время вернуть его к жизни. Концентрированный настой *paraver fuliginoza richteria*, нагретый до восьмидесяти шести градусов и смешанный с...

Ренфрю прерывает свой монолог, поскольку понимает, что его самообладание вот-вот сменится возбуждением исследователя. Он возобновляет лекцию с другого места, вещая теперь другим тоном – более мягким и проникновенным. Учитель приближается на шаг к юношам, словно обращается только к ним двоим:

– Я хочу сказать, что потратил все утро на изучение двух этих сорочек и обнаружил нечто странное. Нечто, вызывающее серьезную озабоченность. А именно: я обнаружил тип сажи, который до этого видел лишь раз в жизни. В тюрьме.

Он подходит еще ближе и проводит языком по губам. В его голосе слышится жалость.

– В ком-то из вас разрастается рак. Нравственный рак. *Грех*... – быстрый взгляд в сторону Суинберна, враждебный и ироничный, – грех чернее Адамова греха. Необходимо принять срочные меры. Если он укоренится, возьмет верх над организмом, захватит его вплоть до последней клетки... тогда уже никто не сумеет помочь. – Он умолкает, смотрит обоим пансионерам в глаза. – Вы будете потеряны.

После этого заявления Томас глохнет на минуту или даже больше. Это забавная глухота: уши работают совершенно нормально, но слова, которые он слышит, не достигают мозга, или, во всяком случае, это происходит не как всегда: они не распределяются по важности, не получают места в иерархии значений. Они просто складываются.

Тем временем говорит Джулиус, сдержанным, хотя и слегка обиженным тоном:

– Неужели вы даже не спросите, что произошло, мастер Ренфрю? Я-то думал, что заслужил некоторое право на доверие в этой школе, но вижу, что заблуждался. Аргайл набросился на меня. Как бешеный пес. Пришлось остановить его. Он измазал меня своей грязью. Это его сажа. От меня дым никогда не идет.

Ренфрю позволяет ему договорить до конца, наблюдая при этом не за Джулиусом, а за остальными учителями: некоторые из них что-то бормочут, выражая поддержку Джулиусу. Ничего не понимающий Томас следит за его взглядом и видит на лицах наставников обвинительный приговор: это он, Томас, совершил немыслимое с одним из их питомцев, словно говорят они, это он запятнал их золотого мальчика. Томас хотел бы опровергнуть обвинение, но мысли не повинуются ему. В голове только один вопрос: что значит «быть потерянным»?

– У меня была возможность, – после долгого молчания отвечает Ренфрю, – получить три разных свидетельства о событии, о котором вы упомянули, мистер Спенсер. Уверен, что у меня имеется вполне четкое представление о развитии событий. А вот факты. Обе сорочки испачканы – как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Сажа на них различного качества. Но образцы вот этого вида... – он вынимает из кармана предметное стекло, посередине которого в капле красноватой жидкости повисли несколько хлопьев сажи, – я взял с *обеих* сорочек. Я не смог определить их происхождение.

Обе сорочки, – продолжает он, повернувшись к наставникам, – также несут следы попыток свести пятна: в одном случае попытка была крайне примитивной, – кивок в сторону Томаса, – а в другом намного более тонкой. Это очень сложно объяснить, мистер Спенсер.

Джулиус судорожно сглатывает, дергает головой. Теперь в его голосе звучат панические нотки:

– Я полностью отрицаю... Вы ответите за это перед моей семьей! Виной всему этот мальчишка, эта тварь...

От гнева у Джулиуса путаются мысли. Его спасает Суинберн: бросается к нему, шелестя темной сутаной, хлопает его по плечу, велит закрыть рот. Вблизи от Суинберна пахнет затхлостью и духотой, как в подвале, который долго не проветривали. Запах и помогает Томасу прийти в себя, потому что во всей комнате реальным кажется только это. Запах и еще стук, словно кто-то колотит тяжелым кулаком по дереву. Правда, стук никого не заботит. Должно быть, это его сердце.

– Мистер Спенсер невиновен, – безапелляционно провозглашает Суинберн, будто выносит судебный вердикт. – Я провел собственное расследование происшествия прошлой ночью. Здесь все ясно. Во всем виноват этот мальчик. Он сильно дымит. Он инфицировал Спенсера.

– *Инфицировал?* – Ренфрю улыбается. Его едва слышно, потому что стук становится громче. – Это же медицинский термин, мастер Суинберн. Обычно вы их не употребляете. Однако вы правы, дым *инфицирует*. Боюсь только, что это явление понимают ошибочно. Вот почему я настаиваю на том, чтобы оба ученика приняли участие в завтрашней экскурсии.

Заявление доктора Ренфрю сопровождается взрывом выкриков и голосов, но Томаса больше всего пугает то, что сердце его, по-видимому, остановилось: раздается последняя громкая дробь, а потом – ничего.

– Так быть не должно, – повторяет снова и снова кто-то из учителей – Хармон? Уинслоу? – высоким, визгливым голосом, и эта фраза как нельзя лучше передает смятение Томаса.

Мгновение спустя распахивается дверь, и на пороге возникает невысокий, растрепанный Крукшенк, школьный привратник, и смущенно произносит среди внезапно наступившей тишины:

– Просим прощенья. Стучал, пока костяшки в кровь не сбил. Никакого ответа. Послание для мастера Фойблса меж тем. Как бы это, срочное. Будьте добреньки.

Обозначенная таким образом персона приходит в ужас.

– Не сейчас, ты, дубина! – кричит Фойблс, бежит через всю комнату и за руку вытаскивает привратника наружу. В прихожей они продолжают беседовать – шепотом, но достаточно громко, чтобы приковать к себе всеобщее внимание.

– Дак вы сами все твердили, чтоб тотчас, – доносятся оправдания Крукшенка.

– Но нельзя же врыватья таким вот манером, – распекает его Фойблс. – Вот дубина стоеросовая.

Тем не менее он пребывает в приподнятом настроении, когда закрывает за привратником дверь и возвращается в кабинет директора.

– Посылка прибыла, – сообщает он с широкой улыбкой и триумфально потирает ладони, но царящая в комнате атмосфера напоминает ему о том, что здесь произошло. Он подавленно ретируется в угол и прячет лицо в носовой платок, якобы собираясь прочистить носовые проходы. Наподобие стрелки компаса, на время отклонившейся под действием магнита, внимание присутствующих вновь обращается к Ренфрю, который по-прежнему стоит в центре кабинета. Но негодование, которое последовало за его заявлением, уже спало, и в голове Томаса наконец наступает ясность.

Он *потерян*.

Но все-таки поедет в Лондон.

– Есть ли возражения? – спокойно интересуется Ренфрю.

Суинберн меряет его яростным взглядом, потом поворачивается к нему спиной и обращается к директору:

– Мастер Траут, этот юноша – носитель болезни среди наших подопечных. Его следует немедленно отослать из школы.

Он не снисходит даже до того, чтобы указать пальцем на Томаса. Но Траут мотает головой:

– Невозможно. У него могущественный покровитель. Больше не желаю слышать об этом. Суинберн открывает рот, но Траут уже поднял свою тушу из кресла.

– Наказание пусть назначит мастер этики и дыма. Инструкции совета управляющих звучат недвусмысленно. Если мастер Ренфрю считает, что завтрашняя поездка пойдет этим пансионерам на пользу, то так тому и быть. Помимо этого... – Он вопросительно смотрит на Ренфрю.

– По возвращении я буду работать с каждым из них индивидуально, господин директор. Ускоренный курс перевоспитания. – Ренфрю избрал примирительный тон. – И если это послужит к вашему успокоению, дражайшие коллеги, здесь у меня заготовлен перечень страниц из «Книг дыма», которые они станут переписывать. Из третьего тома. – Его взгляд останавливается на Суинберне. – Те места, которые подтверждены последними исследованиями. Чего нельзя сказать об остальных частях книги.

Он отдает Томасу и Джулиусу листки с перечнем страниц, но задерживается возле старшего ученика.

– Еще кое-что, мистер Спенсер. Эти ночные испытания. Они должны прекратиться. Я один уполномочен проверять моральную чистоту учеников этой школы.

Суинберн слишком разъярен, чтобы сдержаться:

– Но наша школа славится своими традициями. Только глупец станет вмешиваться в...

Ренфрю не дает ему договорить. Тон его становится холодным и жестким:

– Настает новая эра, мастер Суинберн. Вам стоит поскорее привыкнуть к этой мысли.

Он жестом велит ученикам подняться и чуть ли не выталкивает обоих за дверь. В прихожей Томас и Джулиус на минуту останавливаются. Оба совершенно сбиты с толку. Впервые между ними проскакивает искра симпатии – они вместе подверглись опасности и уцелели. Потом Джулиус вскидывает голову.

– Ненавижу тебя, – говорит он и уходит. От его кожи не поднимается даже тончайшей струйки дыма. Томасу остается только теряться в догадках: почему ненависть Джулиуса священна и чиста, а его собственная настолько грязна.

– Вот ты где! Я везде искал тебя.

Чарли находит его перед самым отбоем. Такова школа: здание может быть сколь угодно большим, но спрятаться невозможно. Каждый уголок находится под надзором, каждый час жизни школьников контролируется. Пустые помещения запираются, в коридорах не протолкнуться, на лестницах стоят привратники, а на улице чертовски холодно.

– Говорят, что был трибунал. В кабинете Траута.

– Да.

Чарли начинает что-то говорить, умолкает, смотрит Томасу в лицо. В его глазах столько заботы, что Томас отводит взгляд.

– Что они с тобой делали?

– Ничего.

– Точно?

– Да.

Разве можно рассказать о таком? О том, что он *инфицирован*. О том, что в нем растет зло, такое черное и страшное, что даже Ренфрю боится. О том, что однажды утром он проснется и сделает что-то чудовищное. О том, что в его роду укоренился преступный порок.

О том, что опасно иметь такого друга, как он.

Поэтому он говорит:

– Мне разрешили участвовать в экскурсии. – И еще: – Посылка прибыла. Та вещь, которую они ждали. Крукшенк пришел и сообщил им.

Чарли смеется, когда слышит об экскурсии, смеется от облегчения и радости, что они поедут вместе. Его счастье выглядит таким простым и чистым, что Томасу становится стыдно перед другом. Он извинился бы, а может, и признался бы, но Чарли берет его за руку и говорит:

– Пойдем к нему. К привратнику Крукшенку. У нас есть еще несколько минут.

И он срывается с места, тянет за собой Томаса.

– Он любит меня, этот Крукшенк. Я иногда захожу к нему поболтать. Он расскажет мне, что это за посылка.

И когда они несутся вниз по лестнице, стуча каблуками, принаравливаясь к поступи друг друга, Томас забывает – почти – о том, что он больной человек, ходячая зараза, сын человека, совершившего убийство.

Привратник

Двое мальцов. Являются ко мне с расспросами. Один счищает с вещи наслоения, обнажая правду, будто сделан из скипидара, а второй с глазами такими честными, что так и хочется ему исповедаться. Говорю я, натурально, со вторым, но приглядываю за первым. Он из тех, кого лучше не оставлять у себя за спиной.

– Посылка? – спрашиваю. Мол, уж и не помню. Только так и выживаешь в этом мире. Изображаешь тупицу, коверкаешь слова – и становишься невидимкой: кинут на тебя один взгляд и тут же забудут. Но то сильные мира сего. А с мальчуганами этими все не так. Они-то поумнее своих учителей. Просто выжидают, пока я не проговорюсь.

– Да ничего особенного, – говорю я наконец. – Сладости всякие. Чай. Печенье. Из Лондона, кажись.

Вот и все, что я им выдаю. Ну и название фирмы – надо же понять, что они уже знают:

– Смотрите, какая большая красивая печать на посылочном ящике. «Бисли и сын. Импорт-экспорт, поставщики королевского двора».

Ни один из них и ухом не ведет. Значит, еще невинны. Хотя молчун выглядит так, будто родился с кинжалом в кулаке. Будто ему пришлось прорубать путь на этот свет, и он не возражал.

– Собираетесь на экскурсию, ребятки? Завтра, что ль? – спрашиваю я, хотя, конечно же, обо всем знаю.

– Да, мистер Крукшенк. Вы поедете с нами?

Мистер Крукшенк, скажи на милость. Уважительный какой, шельмец, до чего мягко стелет. Правда, смотрит так, будто и не врет вовсе. Если в Лондоне он посмотрит эдаким ангелочком на какую-нибудь девку нравом помягче, та бесплатно обслужит его.

– Ну нет. И в мыслях не было. Слишком жутко для нашего-то брата. Ни за какие коврижки не поеду. Уж лучше на Луну слетать. Не так боязно.

Как будто я в Лондоне не бывал. Дотуда с полсотни миль. Два дня пешком, когда молодой был. Нынче всего и делов-то – садись на поезд и поезжай. Прихвати только жареной курятины. Сплошное удовольствие.

Но как ни крути, чудная затея, эта их экскурсия. Ох, времена меняются. Ренфрю то и дело письма получает. По три-четыре в месяц. Имени на конверте нет, но разве я не понимаю, что это из министерства, почтовый штамп-то никуда не денется. Ричмонд-на-Темзе. Достанешь карту и смотришь, что там. А там Новый Вестминстерский дворец. Самое сердце власти. Хотя ходят слухи, будто парламент снова переезжает. Подальше от Лондона: стены уже сереют. Кстати, Траут получает почту с того же отделения, но адрес на его письмах написан другим почерком – круглым таким: должно быть, дамочка. А письма к Ренфрю накорябаны кое-как. Если поднести конверт к свету, то видна тень печати. И заковыристая подпись внизу, Виктория какая-то там. Небось, чиновница при королевском дворе. Значит, бюрократы против законников; все эти коридоры власти. Вот бы узнать, что в этих письмах. Расскажут ли когда-нибудь Траут и Ренфрю?

Ребятишек я отправляю восвояси, звоню в колокол: отбой. И утром прибывают экипажи, все одиннадцать, чтобы отвезти пятьдесят восемь старших школьников на станцию. За ночь опять навалило снега, и от лошадей идет пар. Ха, и одна делает кучу ровнехонько под носом у старого Суинберна. А как славно пахнет свежий конский навоз на снегу. Так и хочется упрятать запах в склянку да подарить любезной подружке.

Я провожаю их, стоя на пороге, набросив на плечи старое одеяло. Один из школяров смотрит на меня, пока они не сворачивают на большую дорогу. Он не машет мне.

И я не машу.

Наконец они уехали. Я иду в дом, подбрасываю в печь угля, ставлю вариться кость для супа. Когда сготовится, они уже доберутся до Оксфорда.

Инфекция

Вокруг них простирается сельская местность, белая и безмятежная. Встает солнце, находит снег, зажигает его. Слепящему блеску противостоят живые изгороди, разрезающие долины на куски разной формы. Деревья, одетые вместо листвы в иней, разглядывают свои чеканные силуэты в зеркале теней. Чарли, по уши замотанный в шарф, высовывается из окна экипажа и дивится на пейзажи. Он не может припомнить другого настолько же холодного и прекрасного декабря. За милю до Оксфорда одно колесо попадает в сугроб, и школьники высыпают на дорогу, чтобы откопать его. Они успевают поиграть в снежки, но торопятся, боясь опоздать на поезд.

Сам Оксфорд – это череда сказочных замков, украшенных гербами колледжей. На улицах полно дам со служанками, делающих покупки. Череда экипажей подъезжает к станции, и вся улица останавливается, чтобы понаблюдать за высадкой юных школяров. Молодые женщины в меховых палантинах и муфтах указывают на них друг дружке. Нервничающий, но одновременно охваченный радостным возбуждением Чарли одергивает хорошо скроенную форменную курточку и заново повязывает белый шарф. До чего же приятно войти на железнодорожную станцию, галантно приподнять шляпу, здороваясь с благородными особами у билетной кассы, и получить ответное приветствие. Школа вдруг отдалается на многие мили, тает в прошлом. Они вновь вступают в светское общество, где их встречают как равных – как взрослых. Чарли не одинок в своих ощущениях. Он видит, что его соученики один за другим расправляют плечи, приглаживают волосы под шляпами и прекращают баловство, посматривают вокруг с застенчивой гордостью. Это чувство, похоже, не рождается лишь у Томаса. Мрачный, он шагает, опустив голову, – вечно чужой. Чарли сначала злится на него, на его неспособность порадоваться утру. Потом великодушие берет верх. Он подходит к другу и пытается втянуть его в разговор:

– Интересно, какая платформа нам нужна? Откуда идут поезда на Лондон?

Томас бросает на него колющий взгляд. «Не жалею меня, – говорит этот взгляд. – Не смей этого делать».

– Мы едем со скотом.

Чарли на мгновение озадачен этими словами. Потом он видит их – множество коз, овец и свиней, стоящих в собственном навозе. Это у дальнего края станции, на платформе, отделенной от других ограждением с будкой на воротах. Животных загоняют в подошедшие вагоны. Когда за ними захлопываются двери, в вентиляционных окошках тут же появляются рыла; бледные, почти бесцветные ноздри всасывают воздух. Даже на расстоянии Чарли ощущает их страх.

– Но это же грузовой состав.

– В основном да. Он везет еду для Лондона. Глянь туда.

Палец Томаса направлен на два пассажирских вагона в голове поезда, которые легко опознать по частым окнам. Рядом с ними снуют рабочие в клетчатых кепках и жилетах, покрытых пятнами старой сажи. А среди них – невероятно! – дети; некоторым от силы девять лет. За ними тянутся клубы дыма. Одна девочка с заячьей губой, лет двенадцати-тринадцати, несмотря на мороз, одета лишь в фуфайку и штаны. Фуфайка густо облеплена сажой, которая свисает с узких плеч, словно тяжелая броня. Девочка замечает школьников, прилипших к ограждению, и строит гримасу, за которой следует выкрик. Расстояние гасит его.

– Что она сказала? – спрашивает Чарли у Томаса.

Томас смотрит на него, начинает говорить, но краснеет. Это случается с ним первый раз в жизни, и он ошеломлен. До сих пор он не сталкивался ни с чем таким, что заставило бы его покраснеть.

- Тебе лучше не знать.
- Ругательство?
- Да. Анатомического характера. Любимое словечко псаля. У нас дома.
- Бог мой.

К этому времени остальные ученики тоже осознают, что им предстоит уезжать с дальней платформы. Контраст между станцией за их спиной и тем, что находится за ограждением, действует на них как холодный душ. С одной стороны джентльмены в костюмах читают «Таймс». С другой...

– Это просто рабочий люд, – говорит Томас, словно читая мысли Чарли.

– Да, но дети...

– Полагаю, они ездят на этом поезде. В Лондон и обратно. – Томас пожимает плечами. – Не всем же повезло попасть в нашу школу.

Впервые за все утро Чарли видит на его лице улыбку. Вскоре оба смеются, смеются громко, и соученики смотрят на них как на полоумных.

К будке приближается Ренфрю, держа в руке письмо. Даже бумага, на которой оно написано, выглядит значительно; рядом с подписью стоит круглая красная печать. Станционный смотритель внимательно читает письмо, потом пересчитывает головы. Смех и разговоры в толпе школьников к этому времени стихают. Оживления как не бывало. Когда им наконец разрешают пройти за ограждение, из глубин поезда раздается пронзительный звук – это воем от страха одно из животных, но кажется, что кричит сам поезд. При виде школьников рабочие отходят от вагонов и издали наблюдают за тем, как те шествуют по платформе. В воздухе плавают частицы сажи. Одна черная снежинка садится на рукав мальчика, идущего рядом с Чарли; тот пытается стереть ее, но лишь размазывает по ткани.

– Мастер! – зовет он рыдающим голосом, боясь наказания.

Ренфрю оборачивается на секунду.

– Это не имеет значения, – говорит он.

От его слов Чарли становится тревожно. Они вступают в царство неведомых правил.

Участники экскурсии подходят к поезду, шагают вдоль вагонов. Сначала Чарли кажется, что поезд окрашен черной матовой краской. Но потом его осеняет: это сажа. Она покрывает каждый вагон, каждое колесо. Чарли протягивает палец, прикасается к ней, с отвращением отдергивает руку.

– Сажа инертна, – негромко говорит Томас.

Чарли не очень понимает, что это значит.

Внутри поезд сияет чистотой, в нем уютно. Их вагон – сидячий, по форме и размерам очень похожий на конки, которые он видел прошлым летом в Бате. Сидя на жесткой скамье, легко представить, что ты снова в школе.

Проходит примерно полчаса, прежде чем ландшафт начинает меняться. В безукоризненно-белом одеяле снега появляются темные прорехи травы – скорее черной, чем зеленой. В лужах талой воды отражается мутное небо. Еще пара миль, и снег пропадает вовсе. В полях стоит невысокий озимый овес в обрамлении облетевших кленов и дубов. Все выглядит чахлым и больным.

– Погода изменилась, что ли? – вслух задается вопросом Чарли.

– Сомневаюсь, – говорит Томас.

– Значит, в Лондоне теплее, чем в Оксфорде? – Чарли обдумывает эту мысль. – Ну да, там ведь столько народу. И столько фабрик, где, наверное, много двигателей и печей.

– Да. И еще дым.

Томас показывает на что-то. Проследив глазами за его пальцем, Чарли видит впереди первое серое пятно в воздухе. Это не темный столб пожара, не четкие контуры штурмо-

вой тучи, а скорее туман, поднимающийся от почвы, сырой и упрямый, непокорный ветрам. Через минуту окрестный пейзаж уже покрыт темным налетом. Впереди лежит город: смутное, сумрачное скопление строений, из которого вырастают стройные побеги фабричных труб. Их очертания резче и четче всего, что ближе к земле. Спустя еще минуту начинаются первые дома – закопченные кирпичные стены, узкие дворы, веревки с бельем, скорее серым, чем белым. Скоро уже нельзя не замечать дыма за стеклом: он затушевывает детали, поглощает солнечный свет. Поезд теперь движется со скоростью пешехода, и кажется, что Лондон давит на школьников со всех сторон, окружает их, загоняет в узкое ущелье своих улиц. Все мысли и чувства Чарли вытесняются одной неодолимой эмоцией, чем-то средним между страхом и злобой. Он хочет вернуться в Оксфорд. И еще – поднести к этому городу спичку, увидеть, как он пылает. Чарли собирается сказать об этом Томасу, но тут со скамьи встает Ренфрю и с обычной для него решительностью идет в начало вагона. Над его головой – странная мгла. Дым давно пробрался внутрь, вдруг понимает Чарли, пролез в щели в окнах и дверях, просочился сквозь пол вагона, впитался в их одежду, кожу, легкие.

– Некоторые из вас уже ощущают его, – начинает Ренфрю. – Дым. Возможно, вы чувствуете, что становитесь... не такими, как раньше. Боязливыми. Агрессивными. Легкомысленными. Самонадеянными. Ваш рассудок затуманен, вы подолгу раздумываете. Внешний мир больше не отделен от вас, он становится частью вашего «я». Вы кажетесь себе маленькими, ничтожными, покорными, но готовы сразиться с любым, кто об этом скажет. Ваш скудный запас благоразумия тает на глазах, будто его пожирают крысы. Вас охватывает соблазн – соблазн украсть, обмануть, сбежать. Все, чему мы вас учили, – вообще все – сейчас проверяется на прочность. Представьте, что кто-то стащил у вас пальто и вы остались на холоде в одной рубашке. А мы пока сидим в закрытом вагоне, в миле от вокзала. Снаружи, в самом центре города, среди обитателей Лондона, все будет в сотни раз напряженнее. Кое-кто, возможно, не устоит и почувствует, что поддается. Могу дать только один совет.

Он делает паузу, поочередно смотрит на каждого.

– Не поддавайтесь.

Слово падает резко, словно меч. Даже учителя слегка вздрагивают.

– Дым заразен. Он рождается сам от себя, люди для него – не более чем переносчики. В Лондоне плотность населения выше, чем где-либо еще на нашем острове. В этом городе правит Дым, здесь он цветет пышным цветом, здесь он сеет воровство, распутство, смертоубийство. Он кормится пьяницами, бродягами, проститутками, обволакивает весь город своей сажой. Жалейте тех, кого встретите, как жалеете болящих. Что до вас самих – один совет.

Ренфрю оглядывает учеников в поисках того, кто с достаточной убежденностью скажет за него нужное слово. Джулиус идет ему навстречу. Он сидит впереди с благочестивым, спокойным видом человека, у которого все под контролем.

– Не поддавайтесь, – говорит Джулиус.

И Чарли невольно ощущает прилив бодрости.

– Верно, мистер Спенсер. Не поддавайтесь. Держитесь вместе. Ни с кем не говорите. Ничего не покупайте. Никому не давайте денег. И не поддавайтесь инфекции. Боритесь с ней всеми фибрами души и тела. Если понадобится помощь, зовите. Именно для этого я и мои уважаемые коллеги поехали с вами. Чтобы поддержать вас.

Чарли оглядывает вагон, выискивая остальных учителей, чтобы взглянуть на их лица. На экскурсию отправились все, кроме Траута и Суинберна. В то время как поезд останавливается у вокзала, оставшиеся в школе младшие ученики сидят под замком в столовой, самостоятельно корпят над учебниками. Фойблс, мастер математики, разместился на скамье слева от Чарли. Он вертит в руках банку со сладостями, нервно бросает в рот леденец, но – как всегда – не угощает тех, кто сидит рядом. А вот Чарли совсем не помешала бы конфетка, способная освежить пересохшее горло.

Двери вагона открывают не сразу. При иных обстоятельствах, в ином месте, это вызвало бы жалобы и недовольство, школяры не смогли бы сидеть спокойно. Но сейчас в вагоне тихо, как в могиле. Все смотрят в окна. На платформе толпа: носильщики в грязных сюртуках с багажными тележками; пожилые люди, покрытые таким густым слоем сажи, что струйки пота оставляют на их висках и щеках светлые дорожки; рабочие со своими инструментами, перекинутыми через плечо. А вот женщина, на которой так мало одежды, что у Чарли кровь приливает к лицу. Он отводит взгляд, но все равно видит изгиб белой ноги, исчезающий в длинном разрезе платья. На языке – вкус дыма. «Не поддаваться», – внушает он себе.

Оказывается, когда говоришь, становится легче.

– Если в Лондоне полно преступников, – шепчет он Томасу, прилипшему к оконному стеклу, – и если дым порождает дым, не лучше ли, если все покинут город?

Томас отвечает, не оборачиваясь:

– Может, они не хотят отсюда уезжать.

– Мы могли бы заставить их.

– Мы?

– Ну, я хотел сказать, если бы они жили в сельской местности, на свежем воздухе... Не все же они преступники. Грешники, да, но не преступники. Есть среди них и люди с доброй душой.

Томас наконец отрывается от окна и смотрит на него. Смотрит с таким гневом, что Чарли теряется.

– И кто, по-твоему, будет работать на фабриках? На верфях? Ведь Лондон, между прочим, это множество верфей с жилищами вокруг них.

– Откуда тебе все это известно?

– От матери, – сквозь зубы говорит Томас. Он весь дрожит, из его рта вылетает облачко дыма. – Она раньше писала политические памфлеты. Протестные. Но смотри: двери открыли. Пойдем.

Нет никакой возможности двигаться строем. На платформе была толпа, а на улицах Лондона – форменная давка. И неизвестно, что хуже: дым или гам. Кажется, что весь город орет. Уличные торговцы толкают свои тачки, разрезая поток людей, словно валуны на реке. Они продают кокосы, веревки и нижние юбки, измазанные сажой; гвозди, швейные иглы и карамель; снадобья, порох и уголь. Вдоль фасадов, спиной к штукатурке, ютятся пьянчуги и попрошайки; они выставляют напоказ изуродованные конечности и незаживающие язвы или просто провалились в похмельный сон. В толпе шныряют дети – кто-то играет, а кто-то нагружен товаром для доставки или продажи. Шагать приходится по черной грязи глубиной в пять дюймов, смешанной с талым снегом. Чарли не сразу соображает, что это сажа, скопившаяся за десятилетия и века. Она как клей липнет к его ботинкам. Здания покрыты ею на высоту от трех до четырех яров; выше проглядывают темные кирпичи, а иногда – пестрая желтизна песчаника.

Каждые несколько минут мальчиков кто-нибудь толкает, то мужчина, то женщина, которые локтями прокладывают себе путь. Дважды Чарли чувствует, как в карманах его куртки и брюк шарят чьи-то руки. Он не пытается схватить вора, карманы все равно пусты. Ренфрю идет впереди, высоко задрав трость. Мальчики – разделенные, шагающие группками по двое, трое, четверо, капли в океане враждебной толпы, – не сводят глаз с трости. Потерять ее из виду – значит отстать от своих. Не найти дорогу *обратно*. По мере того как дым заполняет легкие Чарли, страх превращается во что-то более темное. И когда очередной пешеход задевает его локтем, Чарли отталкивает его. Весь его вес вложен в этот толчок. Пешеход – старик с больной ногой – теряет равновесие и падает на других прохожих. Торжество Чарли омрачается, когда он замечает, что из-под его куртки выются струйки дыма, который тянется за ним.

Ни у кого нет иллюзий насчет того, будто Ренфрю сам выбирает маршрут. При всей своей рослости, уверенности и внушительности мастер этики и дыма, как и все они, лишь щепка среди мощного прилива, который управляет толпой. Ибо в этом потоке людей определенно чувствуется единая движущая сила. Ей можно противостоять некоторое время, но изменить ее направление невозможно. Она тянет их через реку, что растекалась под мостом, словно пролитый деготь. Мимо Чарли семенит Фойбл с прижатым к лицу носовым платком.

– Это же клоака, – в ужасе бормочет мастер математики. – Они выкачивают все из выгребных ям прямо в реку.

Действительно, вода пахнет как сотня уборных. Несмотря на это, зловонную жижу рассекают лодки и паромы, а на берегу несколько женщин голыми руками просеивают прибрежную грязь в поисках безделушек, монеток, моллюсков и крабов.

И вот они прибывают. Это площадь неправильных очертаний, достаточно просторная, чтобы вместить несколько тысяч человек, и уже нагретая людским теплом. Воздух такой мутный, что кажется, будто спустились сумерки, хотя день в самом разгаре. Солнце стоит высоко – сквозь пелену греха просвечивает грязно-розовый диск. Но не солнце заставляет людей заприкидывать головы и тянуть шеи. В центре площади стоит помост высотой в добрых два ярда. Из него вырастают две стойки с перекладиной. Свисающая с перекладины петля очерчивает овал, заполненный грязным небом. Толпа взирает на конструкцию с почтением, обыкновенно причитающимся только кресту. Даже многоголосый гомон здесь, на площади, звучит приглушенно.

– Казнь? – шепчет Чарли, не желая верить собственным глазам.

– Да. – У Томаса дикий взгляд. Его горло и лицо обсыпаны сажей, неизвестно чьей. – А вон палач.

Несколько мгновений Чарли пытается опознать того, о ком говорит Томас. Толпа разделяет его недоумение. Человек, который взбирается на платформу, невысок и отнюдь не обладает могучим телосложением; на нем нет ни красного, ни черного капюшона; грудь поверх широкого кожаного ремня не обнажена. Скорее он худощав, а еще кривоног; рыжеватые кустистые усы на бледных щеках кажутся приклеенными. На нем сюртук – довольно чистый, с учетом обстоятельств, – и он смущенно приподнимает цилиндр, приветствуя толпу.

– Джентльмен? – в смятении восклицает Чарли.

– Слуга ее величества, – шепчет Томас. По его лицу видно, что он испытывает ужас, смешанный с ожиданием. Чарли тоже. Они будут наблюдать за чьей-то смертью. Чарли хочет это видеть, и ему становится тошно от самого себя.

«Это все дым», – говорит он себе.

Даже если так, это извращенное желание овладевает всеми на площади.

Приводят осужденного. Но поначалу никто не видит ничего, кроме высоких шляп стражников, со всех сторон обступивших узника. Чтобы пропустить их к помосту, толпа неохотно расступается. Через всю площадь прокатывается волна толчков – от плеча к плечу, от бедра к бедру. Наконец стражники выходят к лестнице, ведущей на помост. От плотной груды их тел поднимается дым, темный и жирный, словно они жгут резину. Слышатся крики боли, плач. Потом к виселице выталкивают человека, окровавленного, дымящегося, с тонким, как бумага, телом...

– Женщина, – выдыхает Чарли и чуть не падает под напором рванувшихся вперед зрителей.

Она немолода и одета в белый балахон, достигающий до щиколоток. Издалека трудно разглядеть ее черты: круглые щеки, сердцевидное лицо, длинные седеющие волосы, убранные назад, – вот и все, что видит Чарли. Пятна дыма покрывают и лицо, и одежду, но это ничто по сравнению с тем, что вскоре произойдет. Стражники ставят женщину под петлей; палач надевает веревку ей на шею и что-то говорит женщине, тихо и настойчиво. Они примерно одного

возраста, с разницей в несколько лет: могли бы быть мужем и женой. Тут толпа начинает скандировать: «Убийца, убийца» – обращаясь не к палачу, который вот-вот предаст узницу смерти, а к ней, совершившей преступление. Она оборачивается к толпе и поднимает руки. Кажется, словно в ней сразу что-то загорается, ее кожа – точно подожженная маслянистая пленка на воде. Черный, липкий дым течет из каждой поры. В одно мгновение белая ткань балахона чернеет; отяжелев от сажи, одеяние липнет к ее груди, бедрам, ногам. Дым, как живое существо, подползает к палачу, который мгновенно преображается: волчий оскал растягивает его губы, он хватается женщину за волосы и начинает кричать толпе голосом, полным жестокого торжества.

Туча дыма тяжелее воздуха, жаждущая заполучить новообращенных, спускается на зрителей. Она неуклонно растет вширь, ярд за ярдом, и через минуту подбирается к Чарли. Это все равно что вдохнуть дурмана: сердце в его груди начинает бешено колотиться, чувства раскрываются навстречу толпе. Он перестает рассуждать в категориях добра и зла, он хочет видеть, как женщина умрет, хочет, чтобы петля сломала ей шею. Просто ради сильных ощущений. И в то же время он восхищается ею, надеется, что она утащит палача с собой, в люк под виселицей. Он готов к бунту, ощущая на губах собственный дым, серый и жидкий. И впервые в жизни этот вкус ему нравится.

Вокруг него не смолкают вопли: «Убийца, убийца», но в них появляется новая нотка, обвинение перерастает в похвалу. Чарли тоже пробует присоединиться, поначалу крича вполголоса, потом все громче и громче: «Убийца, убийца!» Его охватывает ликование оттого, что он заодно со всеми, ему хочется поделиться с Томасом, он хочет взять его за руки, отдаться буйству, слить воедино их дымы и вкусить греха своего друга.

Но когда он оглядывается, Томаса нигде нет.

Потом, уже вернувшись в школу и лежа без сна на кровати, Чарли с облегчением вспоминает, что тревога за друга была сильнее даже дыма той женщины. Дуновение ветра, налетевшего со спины, тоже ему помогает. Оно смещает эпицентр безумия на другой край площади. Палач, чье лицо искривилось и превратилось в маску ненависти, пинает женщину, потом переносит весь свой вес на рычаг, открывающий крышку люка. Чарли отворачивается, и это разрывает его связь с ахающими зрителями. Он надеется, что Томас позади, вне происходящего, в безопасности. Но трудно отыскать кого бы то ни было в океане лиц, глядящих в одну точку, почерневших, злобных. Чарли оглядывается и краем глаза видит тошнотворную сцену – тело пляшет, бьется на веревке, – смотрит во все стороны и не видит ничего, кроме колышущейся, орущей массы, в которой растворяются все личности, где каждое лицо отражает эмоции соседей и почти утратило собственные черты.

Потом его взгляд цепляется за кого-то, как ноготь цепляется за нитку на ткани. Это не Томас, и вообще Чарли его не знает, но обособленность этого человека мгновенно привлекает внимание. Поначалу Чарли не может понять, в чем заключается его непохожесть. Это мужчина лет сорока с небольшим, низкорослый, плотный, но не толстый; голова его слегка клонится вбок, будто он изгибает шею. Лицо самое обычное, одежда потертая и грязная. И все-таки он выделяется в толпе, прежде всего из-за своих движений. Наподобие Чарли, он не наблюдает за казнью. Он протискивается сквозь ряды людей, стараясь как можно незаметнее покинуть площадь, отталкивает тех, кто готов подвинуться, обходит тех, кто отказывается отступить хоть на шаг. Но есть еще что-то. Далеко не сразу Чарли понимает, в чем дело. Этот человек не дымит. Дым окружает его, сажа садится на него, образуя пятна и полосы. Но сам он – сам он не дымит. Когда он проходит в двух футах от Чарли, мальчик, который выше его на несколько дюймов, видит его шею – там, где из-за поворота головы обнажается изнанка воротника. Там чисто, хотя снаружи воротник почти черный. Словно почувствовав на себе чужой взгляд, мужчина

берется за концы шейного платка и ту же завязывает его. Еще через мгновение он достигает края толпы и удаляется прочь, шагая теперь более решительно.

Чарли колеблется. Он хочет догнать незнакомца (не *догнать*, поправляет дым, что бурлит в его крови, а *поймать*), но беспокоится за Томаса. Несколько быстрых взглядов по сторонам также ничего не дают. Тем временем он исчез, человек, который не дымил, исчез, проглоченный городом.

Чарли вертится, и смотрит, и толкается, но без толку. Постепенно напор толпы ослабевает, двигаться уже не так трудно, но зато видно хуже, поскольку фигуры в поле его зрения не стоят, а перемещаются. Через несколько минут выясняется общее направление движения – с площади на прилегающие улицы, и зрители расходятся с выражением странного изнеможения на лицах. Чарли осознает, что все кончено. Женщина мертва, веревка обрезана. Спектакль сыгран. Толстые хлопья сажи парят в воздухе, как снег; живое зло превратилось в обычную грязь. Когда горожане уходят – работать? пить чай? – на площади остаются лишь около шести десятков школьников в почерневшей форме и горстка учителей. Что до Томаса, то Чарли находит его неподалеку от виселицы; он стоит на четвереньках, став жертвой приступа рвоты. Чарли идет к нему, садится на корточки, ждет, когда Томас посмотрит на него.

– Вот так экскурсия, – говорит он наконец как можно беззаботнее.

Томас кивает, сплевывает, улыбается:

– Да-а. Удалась на славу.

Однако его глаза полны страха.

Они бродят по городу еще несколько часов, посещают гуталиновую фабрику, осматривают величественный Букингемский дворец, ныне заколоченный и пустой. Заводской колокол бьет, обозначая конец смены, и Джулиус, вопреки наставлениям Ренфрю, останавливает цветочницу, покупает букет и дарит ей с галантным поклоном. Даже его дружки не аплодируют – все погружены в себя и бредут по улице в состоянии нервного истощения. В воздухе по-прежнему витает дым, но уже не такой едкий, – а может, Чарли просто привык к ощущению собственной порочности. Обед и ужин пришлось пропустить, но ни школьники, ни преподаватели не жалуются. Все хотят одного: вернуться домой.

По дороге к вокзалу они минуют группу мужчин в приличной – правда, со следами сажи – одежде, с рулонами чертежей под мышками. Путь им прокладывают двое здоровенных слуг, щедро раздающих тумачи зазевавшимся прохожим. Ренфрю притрагивается к шляпе, здороваясь с этими элегантными людьми, они отвечают тем же и некоторое время смотрят мальчикам вслед.

Обратная поездка проходит в тишине. В вагоне очень темно. Газовые лампы не зажгли, то ли по недосмотру, то ли намеренно – сказать трудно. Порой слышен шепоток – ребята склонили головы друг к другу для тайного и постыдного признания. Несколько мальчиков сидят лицом к окну и беззвучно плачут. Чарли догадывается об этом по их осанке. Томас тоже не поворачивается к нему. А Чарли хочется кое о чем расспросить друга – как тот себя чувствует; как так получилось, что на площади они разошлись; что вызвало у Томаса приступ рвоты. Хочется рассказать и о том чуде, которое он, Чарли, видел своими глазами. *Человек без греха, с кривой шеей*. Одна мысль о нем заставляет сердце замирать в надежде.

Но Чарли пока не может говорить – не доверяет себе. Следы дыма остаются в его крови, подпитывая раздражение и нетерпение. Он боится, что его голос выдаст эти чувства. Есть и еще кое-что. Все его представления о самом себе поколеблены, и постепенно возвращающийся покой кажется чужеродным, как маска, которую давно не надевали. Когда Чарли наконец решает заговорить, он удивлен, что голос его звучит мягко, как всегда.

– Мы похожи на рудокопов, едущих домой после смены, – вот его первые слова. Он рассматривал свои руки. Кожа под ногтями кажется неестественно бледной по сравнению с почерневшими пальцами.

Томас оборачивается. Его щеки блестят от сажи. Дорожек от слез на лице нет.

– Там был кто-то еще, – говорит он. – Под помостом.

– *Под помостом? Кто?*

– Не знаю. Какой-то мужчина. Снимал одежду с мертвой женщины.

– Снимал одежду... – Мозг Чарли отторгает чудовищный образ. – Искал ценности?

Томас, мрачно всматриваясь в свою память, трясет головой.

– Ее сажу.

И утыкается лицом в стекло прежде, чем Чарли успевает попросить объяснений.

Оксфордский вокзал хорошо освещен. Мальчики оглядывают друг друга – все до единого испачканы грехом. Ренфрю и другие учителя пересчитывают их, в третий раз после ухода с площади, где совершилась казнь. Чудо, что никого не потеряли. Вокзальный смотритель ведет их в помещение на дальнем краю платформы. За двойными дверями зияет помывочная – вдвое больше школьной умывальни. Военным строем тянутся четыре ряда душевых. Кое-где горят газовые лампы, но они прикручены так, чтобы давать очень слабый свет. На бельевой стойке аккуратными высокими стопками выложена сотня маленьких полотенец. Ренфрю пересекает комнату и открывает дверцу металлической печи в углу. Там ревет огонь. Жар настолько могуч, что ему приходится отступить на пару шагов.

– Сначала, – объявляет он, – вы берете полотенце, затем раздеваетесь. Свою одежду складываете вот сюда. – Он показывает на пол. – Ее сожгут. Мы подготовили новую одежду для каждого из вас, она лежит вон там. – Теперь он показывает на дверь с надписью «Раздевалка». – Мыться надо очень тщательно.

В помывочной поднимается гомон. *Всю одежду сожгут!* Никаких осмотров; никаких разбирательств. Что бы ни случилось в этот день, в журнале нарушений не будет записей. Школьники испытывают облегчение, становятся говорливыми и веселыми. Сдираются куртки и брюки, трещит хлопок, разлетаются пуговицы; полураздетые подростки мелькают между кабинками и шлепают друг друга полотенцами. Когда они встают под струи воды и начинают тереть себя мочалками, шум становится оглушительным. Мальчики делятся впечатлениями о лондонских диковинках и попутно избавляются от страха. Теперь прошедший день вспоминается как приключение. Чарли рассеянно слушает их, подняв лицо к потоку едва теплой воды.

– Ты видел того дворника-негра? У него всего одна рука. Такой черный, что сажа на нем еле заметна.

– Клянусь, она продавала головы, только какие-то усохшие. Размером с крикетный мяч, привязаны за волосы к палке.

– И когда я посмотрел на нее, она вдруг распахнула пальто, а под ним совсем ничего, вот честное слово. Правда, из-за грязи ничегошеньки не видно.

Полчаса уходит на то, чтобы все вымылись, вытерлись, переоделись. Учителя тоже привели себя в порядок в соседней умывальне; некоторым пришлось побриться. Подошедший слуга вилами кидает грязную одежду в топку – примерно так же, как разбрасывают по полю навоз. Жар огня распространяется по комнате, окрашивает щеки Чарли в розовый цвет. От кошмаров Лондона ничего не остается, если не считать смутных желаний: снять с себя всю ответственность и, может быть, на несколько часов поддаться простейшим инстинктам. Интересно, думает Чарли, всякий ли кошмар имеет такие последствия? Наконец Ренфрю призывает всех, учеников и наставников, собраться возле выхода.

– Итак, – произносит он добродушно-торжествующим тоном, – мы выжили.

Всеобщее настроение таково, что эти слова немедленно встречаются аплодисментами. Ренфрю пару минут наслаждается этим, затем жестом дирижера устанавливает тишину.

– Не все верили в то, что мы справимся. И гораздо, гораздо больше было тех, – он обводит взглядом коллег, – кто сомневался в том, стоит ли нам вообще ехать. Ради чего, спрашивали они, спускаться в эту бездну грязи и бесчестья, дышать воздухом порока, смешиваться с чернью? Зачем отравлять нашу кровь их похотью, злобой и алчностью?

Для пушкого эффекта Ренфрю выдерживает паузу. Чарли зачарован его руками: небольшие, правильной формы, они покрыты веснушками и тонкими рыжеватыми волосками. Когда наставник говорит, руки пляшут перед его торсом.

– Ответ таков: нам следовало поехать, потому что в будущем это может потребоваться снова.

Ренфрю гасит возмущенный ропот прежде, чем тот успевает набрать силу.

– Два часа назад, когда мы покидали город, все видели нескольких джентльменов, шагавших по улице с чертежами в руках. Это инженеры, которым поручено перестроить канализацию. Да-да, лондонскую канализацию. Самое грязное место в грязном городе, место, где скапливаются все нечистоты и отходы. Они делают это не из нужды, не ради выгоды, не потому, что связаны контрактом. Они делают это, потому что так надо. Потому что они, как и вы, джентльмены из лучших семейств страны. Потому что они, увидев выгребную яму, хотят вычистить ее, улучшить, переделать. И вот им приходится пребывать в центре Лондона днями и неделями. Они вынуждены вдыхать городской дым и преодолевать инфекцию. Они вынуждены мириться с тем, что их чувства и разум замутнены, кожа покрыта грязью, одежда превращается в тряпье. Они должны противостоять соблазну, должны бороться со слабостью – даже во время сна. Но они джентльмены, и они сильны. И с каждым приездом в город они становятся все сильнее и целеустремленнее, все тверже в своих убеждениях. Вы – такие же джентльмены. Выучившись на инженера или врача, политика или чиновника, ученого или архитектора, вы все будете призваны на службу стране и станете улучшать жизнь тех жалких грешников, которых нам сегодня довелось лицезреть. Когда придет этот день, не прячьтесь от ответственности. Не прикрывайтесь страхом, стремлением к благополучию или притворным неведением. Когда придет этот день, достойно ответьте на зов долга. Я знаю, вы сможете.

Ренфрю внимательно оглядывает лица слушателей. Его уверенность действует на них как сила. Как дым. Она переносится по воздуху и вживляется в их кости.

– Я... *Мы* – отвезли вас сегодня в Лондон, чтобы вы увидели все своими глазами. Инфекцию нельзя объяснить. Ее необходимо почувствовать. Сегодня она страшит вас. Вы ощутили ее могущество и дрогнули. Но завтра – завтра вы встретитесь с ней как с врагом. Завтра вы станете думать о том, как изменить положение дел. Как сражаться с ней. Это ваш долг как христиан. Как мужчин, сказал бы я. Ибо вы возвращаетесь из Лондона, и значит, вы больше не дети.

Последнее утверждение вызывает восторженный вопль, настолько мощный, что удивлены сами вопящие. Даже Томас, стоящий рядом с Чарли, поддается общему настрою и троекратно кричит «ура!». А вот Джулиус, напротив, держится особняком, и это странно. Чарли наблюдает, как тот мнетя в стороне ото всех – с замкнутым видом, кусая губы.

Ренфрю не растягивает момент торжества: он утихомиривает учеников, выводит их на платформу, потом за пределы вокзала – туда, где уже дожидается вереница экипажей. После затяжных холодов в воздухе чувствуется оттепель. С запада дует теплый ветер, медленно тает снег, и в лужах отражаются фонари.

Обратно Ренфрю едет не с учителями, а в том экипаже, где сидят Чарли и Томас. Он забирается внутрь и, приподняв фалды пальто, втискивается между ними совсем как подросток – такой же, как они. Остается только подвинуться. Все разговоры тут же стихают. Из-за

оттепели дорогу развезло, и лошади тянут медленнее, поскольку каждый оборот колеса требует добавочных усилий. Мягкое покачивание вместе с теплом от недавнего купания убаюкивает юных пассажиров, одного за другим. Чарли, отделенный от Томаса жестким корпусом учителя, не решается перегнуться через Ренфрю и посмотреть, не заснул ли его друг. Он старается увидеть Томаса уголком глаза, но в поле зрения попадают только скрещенные ноги, неподвижно стоящие на полу ступни да вытянутые по бедрам руки. Уже довольно долго со стороны Томаса не заметно ни малейшего движения, и Чарли очень удивлен, когда слышит его голос:

– Дым – это болезнь.

Застигнутый врасплох, Чарли не сразу соображает, что слова друга обращены не к нему, а к Ренфрю и что это вопрос, а не утверждение.

Подобно Томасу, Ренфрю говорит едва слышно, не поворачивая головы и не шевеля руками, которые покоятся на рукояти трости, зажатой между коленями. Чарли посещает странная мысль: наставник сел к ним в экипаж именно для того, чтобы поговорить с Томасом.

– Нет, – говорит Ренфрю. – Дым – не болезнь, как и жар – не грипп. И то и другое – лишь симптомы.

– Дым – это симптом, – повторяет Томас медленно, осторожно. – Все равно, дым не от Бога.

Вот теперь Ренфрю оборачивается, склоняется к Томасу и отвечает ему теплым, искренним голосом. Чарли вытягивает шею, желая расслышать его слова, и почти ложится щекой на пальто учителя.

– Почему же? – возражает Ренфрю. – Возьмем корь: она от Бога. Религия Суинберна устарела. Он невежда. Он не понимает, что и ученый может верить, что наука – это форма поклонения Богу. – Ренфрю делает паузу. – Но ты ведь хочешь спросить о чем-то еще?

– Если это болезнь... а дым – ее симптом... Она передается от отца к сыну?

Прежде чем Ренфрю успеет ответить, колесо экипажа попадает в выбоину, и все впопалку падают друг на друга. Через секунду разбуженные мальчики садятся обратно, смущенные из-за столкновения с учителем. Чарли ждет, когда разговор возобновится, но Ренфрю и Томас молчат. Тогда он смотрит в окно и видит в лунном свете сову, сидящую на ограде. Сова смотрит прямо на него. Кажется, что в ее глазах, обрамленных тонкими светлыми перьями, застыло бездушное изумление.

Процессия подъезжает к школе. Она открывается взору, когда экипажи взбираются на последний холм: главное здание, дортуары и сарай, все вместе – черный крест на сыром снегу. Темный кирпич прячет от глаза детали. Мальчиков не нужно подгонять – они быстро заходят внутрь, направляются в дортуар и ложатся. Кое-кто бросается на кровать прямо в одежде. В помещении, где отход ко сну обычно сопровождается перешептываниями, смехом, вскриками, стоит странная тишина. Гаснет последняя свеча. Чарли ждет полчаса, потом встает и проскальзывает в умывальню. Томас уже там: сидит на полу, закутавшись в одеяло и прислонившись спиной к стене. Чарли опускается рядом на холодную кафельную плитку.

– Я первый или ты? – спрашивает он.

– Ты, – говорит Томас. В голосе его слышна бесконечная усталость. И еще обида. И безысходность. Чарли к этому не готов.

– Или ты сейчас не хочешь? Можно ведь подождать до завтра.

Томас подвигается ровно настолько, чтобы встретиться с ним взглядом.

– Ты хочешь поговорить, Чарли, а я твой друг. Так давай поговорим.

Он не добавляет: «Такова цена, которую мы должны платить. *За дружбу*». Но Чарли слышит и то, что не сказано.

Ему горько из-за того, что дружба имеет цену.

Томас

Чарли рассказывает мне. О том чуде, которое он видел. А я – о том, что делал я, там, на рыночной площади. Все честно, как денежные расчеты между двумя голландцами. Потом мы расходимся по кроватям. Ни один из нас не получает ожидаемого отклика. Чарли хочет, чтобы я восхитился, начал строить вместе с ним разные теории и разрабатывать план возвращения в Лондон, чтобы выследить того человека.

Но поверить в сказанное им слишком трудно. Человек, неподвластный дыму, с кривой шеей и все такое. Нет, невозможно. Все равно что увидеть призрака. Конечно, я не думаю, будто он врет. Чарли не стал бы обманывать. Он вообще на это не способен, мне кажется. Но это же город: тысячи людей толкают и стискивают друг друга, отдавливают друг другу ноги; от тесноты не продохнуть; и у тебя в крови столько дыма, что все твои чувства кричат: «Подерись! Ударь кого-нибудь в лицо!» И еще требуют того, ну, другого. В смысле – найти девчонку. Сорвать с нее одежду. Будто пульс соскользнул в твои штаны. Хаос, другими словами, хаос не только на площади, но и в тебе самом, ярость, и похоть, и смех тоже, безумный такой смех, невесомый и простой, и твой желудок говорит, что ему нужна пища. И посреди всего этого разглядеть человека, который не дымит? Из-за того, что его воротник чист изнутри, и Чарли замечает это, когда тот проходит мимо? Ну знаете ли...

Наверное, есть вещи, которые нужно увидеть самому. И дело не в том, хочешь ты верить или нет; даже дружба тут не поможет. Ты просто не в силах поверить. «Люди – одинокие создания, – говорила мать. – Наша жизнь протекает у нас в голове».

И когда я рассказываю ему то, что видел я, – настолько правдиво, насколько могу, хотя у меня сводит живот и я непрестанно плююсь дымом, – Чарли хочет знать только, все ли у меня хорошо. Конечно нет, но ведь речь не об этом. Чарли видел, как мимо него прошел ангел. А я, похоже, видел дьявола. Теперь у нас всегда все будет плохо.

Вот что я рассказываю Чарли. Когда пошел дым – ее дым, той женщины, убийцы, – я стал проталкиваться ближе к помосту. Меня влекло туда такое соображение: если Ренфрю прав, если в моих внутренностях, в моем сердце, в моем мозгу разрастается рак порока, значит она – то, чем я стану. Она – моя судьба, мое родовое наследство. Поэтому мне нужно было посмотреть ей в глаза. И отыскать в них признаки родства или что-то еще. Кроме того, у ее дыма был такой привкус... я и раньше чувствовал его, но так отчетливо – никогда. Он был *приятным*. Горьким, само собой, обжигающим легкие, как огонь, и все-таки приятным – должно быть, так же, как спиртное для пьяницы. Притягательным. Итак, я двинулся к помосту. Пришлось раздать немало тумачков, в ответ я получил столько же, все руки покрылись синяками, но я шел вперед.

Вокруг виселицы было около ярда свободного пространства: там стояло лишь несколько человек, да и те пытались пристать к толпе. И понятно почему: все хотели подобраться поближе – увидеть, как сдавлена ее шея, как вывалился язык, – но если окажешься слишком близко, тебя прижмут к помосту. По сути, это большой деревянный короб высотой с человека, квадратный, обитый огромным куском полотна не то темно-коричневого, не то черного цвета. И там, придавленный к дощатой стенке, ты ничего не увидишь. Даже дыма там было меньше, он проплывал над головой.

Итак, я тоже попробовал снова влиться в толпу – бросился в нее напролом, с разбега. И получил коленом в живот так, что во рту у меня смешались сажа и желудочный сок, в глазах потемнело, и я упал в грязь все на той же полосе ничейной земли, около помоста. Пытаясь встать на ноги, я оперся о стенку и тогда заметил, что под тканью она не сплошная, а с просветами, как забор. И тут же вспыхнула злая мысль, что именно сюда, внутрь помоста, открывается люк, тот, через который провалится женщина. И – больно говорить о таком, это дым, это все

дым, хотя, может, и нет, – я захотел увидеть это, увидеть *ее*, пусть только ноги, увидеть, как они бьются, пока из нее уходит жизнь, увидеть ее отекавшее лицо, когда, умерев, она упадет в люк.

И пока толпа редела в густом дыму, таком черном, что едва можно было разглядеть небо, я водил пальцами по стене помоста, нащупывая под полотнищем щель, достаточно широкую, чтобы пролезть сквозь нее. Я нашел ее у самого низа, лег плашмя на живот (как червяк, подумал я тогда, как жалкий, мерзкий червяк), выдрал два гвоздя из тех, которыми прибили ткань, и проскользнул внутрь.

Единственным источником света было отверстие люка, но я сразу понял, что опоздал. На земле уже лежало тело. Конец перерезанной веревки торчал над горлом женщины, словно рукоятка кинжала. Ее дым уже иссяк. Она лежала лицом вниз, раскинув ноги. Балахон покрывала толстая корка сажи, которая потрескалась, как глазурь на торте.

Корка потрескалась не сама по себе. Там кто-то был: он присел возле тела, спиной ко мне. С бритвой в руках. Этот человек разрезал балахон двумя быстрыми движениями. Обнаженное тело казалось одетым – на нем тоже был слой сажи. Человек – в костюме и мешковатом твидовом пальто, грязном и штопаном, – извлек из кармана банку, приземистую, с широким горлом, из темного, как у аптечной склянки, стекла. Потом он снова нагнулся над телом, держа бритву в руках, и принялся отскребать сажу трехдюймовым лезвием.

Но не отовсюду. Он точно знал, чего хотел. Начал с лица – расцепил челюсти женщины, широко раскрыл ей рот, потом пальцами в перчатке вытащил язык, будто собирался отрезать его, но всего лишь стал водить лезвием по нижней его стороне, удаляя осевшую там сажу, скорее жидкую, чем порошкообразную, и перекладывая ее в банку. Выглядело это так, будто он счищал джем с ножа о край посуды. Звук стали, скребущей по стеклу, был громче рева толпы снаружи.

Я безмолвно наблюдал за этим, притаившись у стены, боясь не ножа, а этого человека, который держал своими пальцами язык мертвой женщины. Он собрал сажу еще в двух местах – из обеих подмышек, а затем (тут я отвернулся; хоть в моих легких и в мозгу хозяйничает лондонский дым, все равно я отвернулся, не в силах вынести этого – слишком стыдно) из расщелины между бедер. Он снова и снова скреб лезвием о край банки и наконец плотно навинтил крышку. Все это заняло несколько минут. Он ни разу не оглянулся, работая методично и точно, ровно с той скоростью, которой требовала задача, и со сноровкой, говорившей о большом опыте.

Вдруг в нашем убежище, в этом склепе под лондонской виселицей, потемнело. В проеме люка появились голова и грудь палача – это он, нагнувшись, перекрыл поток света. Не прозвучало ни слова, однако я увидел, как человек возле тела кивнул и убрал в карман банку со своей добычей. Палач тут же выпрямился и рывкнул, обращаясь к стражникам, чтобы те достали труп.

Теперь я думал лишь об одном – как поскорее убраться из-под помоста. Я откатился назад к краю оторванного мной полотнища. Перед тем как выползти наружу, я обернулся. Человек на противоположной стороне помещения сгорбился перед низкой дверцей, готовясь выйти. В этот момент он тоже бросил взгляд через плечо. Было темно и дымно, и все же могу поклясться: если нам доведется свидеться, мы узнаем друг друга. У него необычное лицо: морщинистое, как у старика, но при этом юношеское; гладкий подбородок под пышным кустом усов; тонкий нос и изящные брови; крупные глаза под тяжелыми веками. Лицо джентльмена, подумал я тогда, или мальчика благородных кровей, которого злая фея во сне превратила в старика. Ну а потом человек шагнул наружу и закрыл дверь, я же выбрался через щель на улицу, и там из меня выскочила рвотная масса, словно живое существо, которое хотело убежать прочь, прочь, прочь. Как будто близость к моему телу была позорной даже для полупереваренного завтрака.

Там и нашел меня Чарли спустя четверть часа. Я смотрю, как стражники за ноги вытаскивают тело из-под помоста, заворачивают его в саван, привязывают к доске и уносят. И выти-

раю рот. Мои рукава настолько перепачканы сажей, что я с тем же успехом мог бы провести по губам куском угля.

Но вкус ее остается со мной, пока мы возвращаемся в школу. И утром тоже, когда школьный колокол прерывает мой сон, из которого я помню только снеговика. Его глаза-камешки медленно сползают по пустому лицу, один за другим. Я успеваю добежать до туалета, и там меня опять тошнит.

А потом – потом я иду в кабинет Ренфрю, на первую из множества предписанных процедур. «Ускоренный курс перевоспитания». Так он выразился в разговоре с Траутом. За мной присылают Крукшенка, ровно в пять. Когда я открываю дверь, Ренфрю ничего не говорит. Не страшно; мне не нужны подсказки, я и так знаю, что делать. В зубоврачебное кресло трудно забираться, но оно оказывается удивительно удобным. Красная кожа потемнела в тех местах, где до меня сидели, ерзая и потея, другие ученики. Я помещаюсь в этот нечеткий контур, как рука в перчатку.

– Ремни застегивать? – спрашиваю я с деланным спокойствием.

Ренфрю улыбается:

– Все мальчики об этом спрашивают. По-моему, втайне вы все этого хотите.

Мне становится чуть легче дышать. В конце концов, Ренфрю и так самого плохого мнения обо мне. Он думает, что я вынашиваю убийство, как женщина вынашивает дитя.

Что бы я ни сказал и ни сделал, для него это не станет разочарованием.

Сладости

После Лондона школа делается совсем другой. Перемены повсюду, и потому трудно сказать, в чем они заключаются. Чарли пытается составить список, но чем больше становится пунктов, тем сильнее ощущение, будто он упускает из виду что-то важное, будто суть ускользает от него между словами и строчками, и в конце концов он выбрасывает листок.

Во-первых, дурные сны у старших школьников. Кошмары. Они бывают не у всех, разумеется, и не каждую ночь. И даже нет уверенности, что это именно кошмары: никто ничего не помнит. Но когда они просыпаются, эти мальчики, у них под глазами видны темные круги, похожие на синяки, а на подушках – короста сажи. Ренфрю не наказывает их. Уже одно это вызывает растерянность. Джентльмен ведь никогда не дымит. Как живет, так и спит, гласит поговорка. В младших классах, напротив, сероватые разводы, обнаруженные утром на постели, по-прежнему влекут взыскание, хотя и не слишком суровое.

Во-вторых, через четыре дня после экскурсии – Рождество не за горами, мальчики считают дни до праздника – один из старших учеников, играя на школьном пруду, проваливается под лед. Погода стоит переменчивая, стремительные оттепели чередуются с заморозками, и мальчиков призывали быть осторожными на льду. Происшествие случается в послеобеденный перерыв, у Чарли на глазах – он как раз идет в школьную библиотеку, чтобы вернуть книги. Глубина пруда не более ярда, но его дно усеяно валунами и старым мусором. Летом, когда вода стоит низко, а небо ясное, можно разглядеть ржавый каркас кровати и вообразить, что это останки корабля, потерпевшего крушение на береговой отмели.

Малая глубина и становится причиной травмы. Конек провалившегося мальчика ударяется обо что-то и соскальзывает под косым углом, отчего нога ломается. Парнишка так орет, что его трудно вытаскивать из полыньи на лед. На штанине появляется кровь: сначала ее не видно на темной ткани, но потом она окрашивает снег в ярко-алый цвет. Из нижней части голени, пронзая мокрую шерсть, торчит толстый, зазубренный стержень, и никто не осмеливается прикоснуться к нему или хотя бы сказать, что это такое. А хуже всего едкий желтый дым, который выходит из несчастного, по большей части изо рта, вместе с криками. Он не поднимается клубами, а стелется на уровне ботинок и опадает на снег тонким желтым порошком, невероятно ярким, словно сера в пробирке в кабинете химии.

Чарли приходится держать голову мальчика на коленях, пока они дожидаются сестру милосердия. Его зовут Уэствуд. Питер. На уроках греческого они сидят рядом.

– Помогите! – то и дело кричит Питер прямо в лицо Чарли, с расстояния в пять дюймов. Чарли гладит его по голове и обещает, что все будет хорошо.

Когда прибегает сестра, Уэствуд уже в обмороке. От его крови в холодном воздухе поднимается пар.

Мальчик спасен, но несколько дней школа живет в тревожной неизвестности – отрежут ногу или нет. В итоге она остается на месте. Когда брюки Чарли возвращаются из прачечной, на них по-прежнему видно бледно-желтое пятно от сажи, там, где лежала голова Питера – от колена до середины бедра. Обеспокоенный Чарли просит особого разрешения, чтобы поместить брюки в школьную благотворительную корзину – оттуда вещи попадают в один из лондонских сиротских приютов. Чарли предпочел бы сжечь брюки, однако ему напоминают, что это против правил. Он вспоминает печь на станции в Оксфорде. По возвращении из Лондона они почти беспрепятственно нарушают правила.

Потом – Томас. Его тошнит. Каждое утро, словно по будильнику, за час до того, как школьный колокол возвещает подъем. Чаша унитаза усиливает звуки, сопровождающие рвоту; они летят по коридору туда, где уже сидит на корточках Чарли, приготовивший носовой платок.

- Ты в порядке? – спрашивает Чарли в их уже ритуальном диалоге.
- Нормально, – всегда отвечает Томас. – Должно быть, съел что-то.

Они смеются, согласно ритуалу. Это называется висельным юмором, но они перестали употреблять это выражение после того, как увидели настоящую виселицу.

И каждый день, ровно в четыре пополудни, когда все рассказываются в общей аудитории на верхнем этаже и начинают готовить уроки, Томас отправляется к Ренфрю. Это часть наказания за драку с Джулиусом. Томас, похоже, не имеет ничего против. Нет, не совсем так. Он страшится бесед с Ренфрю и в то же время жаждет их.

Чарли расспрашивает его о том, что происходит во время этих встреч. Их связывает слишком многое – слишком много уважения, для начала; слишком много доверия; и слишком много часов, потраченных на взаимные откровения, поэтому Томас не может просто уйти от ответа. Но Чарли видит, что друг подбирает слова с большой осторожностью.

- Что он делает? – спрашивает Чарли. – Ренфрю?

Томас пожимает плечами:

- Он задает вопросы. Я отвечаю.

- Ты дымишь?

- Очень мало. – Томас и сам удивлен этим.

- Вопросы о чем?

– О разном. Много раз спрашивал о семье. О моих родителях. – Он хмурится и задумывается. – Важно не что он спрашивает, а как, – продолжает он. – Искренне. Точно ему и вправду интересно. Иногда я почти верю ему. Пока сижу в его инквизиторском кресле.

Томас поднимает глаза, растягивает напряженные губы в улыбке.

- Он осел. Конечно же, он занудный осел. Но другие еще хуже.

После экскурсии в жизни школьников появляются и другие непонятные обстоятельства. Несмотря на весь мрак, который они привезли с собой из города, старшие ученики проникаются неким новым духом, своеобразной гордостью. Уже позднее Чарли догадается, что это плоды речи Ренфрю, произнесенной на вокзале, когда он призвал их вернуться в Лондон во взрослой жизни. Теперь учеников можно застать за обсуждением «политики». Высказывается мнение, что пора присоединиться к движению за «реформы». Звучит критика в адрес родителей, но не чьих-то матерей и отцов, а поколения в целом, выдвигаются соответствующие лозунги. Лозунги эти увлекательны и при этом не имеют конкретного смысла. «Возвращение в город» – вот один из них. «Научная теология» – вот еще один. «Меритократия», «Рационализм», «Возрождение». И даже (но его озвучивают, понизив голос, со сдержанной улыбкой) «Революция». Порой импровизированные речи заканчиваются выбросом прозрачного, легкого дыма. Получив укор от собственных тел, школьники пристыженно взирают на дым. Они изобретают сами для себя наказания задолго до того, как у Ренфрю появится возможность изучить сажу на их одежде.

Что интересно, заправилами в таких случаях становятся ученики, ранее не находившиеся в центре событий. Ни один из них не принадлежит к высшей аристократии. Чарли, которого всегда охотно принимали в разные группировки и кружки, обнаруживает, что его избегают: его отец – известный тори. Джулиус тоже отходит на второй план, участвует в разговорах только как слушатель, со странной улыбочкой на губах. Да и все его поведение меняется, особенно в том, что касается отношений с Томасом. В первые дни после экскурсии он вел себя как обычно – насмешливо, высокомерно и враждебно, задирая более юного подростка при любой возможности. Теперь же он в основном наблюдает; если подумать, он все время где-то рядом, то стоит в дверях, то в коридоре неподалеку от помещения – руки в карманах, оглядывая темными глазами то одного, то другого. Джулиус тоже каждый день ходит к Ренфрю. Может быть, беседы с преподавателем так влияют на него.

В любом случае перемены производят переполох в окружении Джулиуса – в сложной паутине стражей, старост и соглядатаев, скрепляющих школу воедино надежнее учителей или известкового раствора стен. Они теряют самоуверенность и уже не так склонны демонстрировать свою власть. В младших классах, как рассказывают, это приводит к шалостям, несоблюдению правил, спорам, дракам, испусканию дыма. Но в конце концов, скоро ведь Рождество. Все отправятся по домам. Может, дело в этом.

Поскольку его друг то занят, то не склонен к разговорам, а сам он, Чарли, никак не прикнет ни к «бунтовщикам», ни к защитникам «старого порядка», у него появляется много свободного времени. Целую неделю он слоняется без цели: посидит, походит, полистает книгу, которую никак не дочитает.

Наконец Чарли находит себе цель.

Начинается все с письма родителям. Он сильно запоздал с этим – писать нужно каждое воскресенье, неукоснительно, – но раньше не было настроения. Даже сейчас фразы неохотно выходят из-под его пера. На бумаге слова выглядят чеканными и ясными, что совсем не вяжется с его душевной сумятицей. Есть и другая трудность: Чарли не знает, что сказать о Лондоне. «Я очень опечалился, увидев, что там господствует грех», – пишет он и почти сразу зачеркивает. Фраза не отражает действительности, а кроме того, кажется, будто ее породил восьмидесятилетний старик, живущий внутри книги (причем пыльной). «Мне совсем не понравилось», – пробует он еще раз, но снова зачеркивает – тоже фальшиво, неверно, ошибочно. Шесть черновиков отложено в сторону, пока не выйдет как надо. Казнь нигде не упоминается.

Лишь в одном месте, почти в самом конце письма, Чарли наконец пишет с легкостью и от души, передавая наилучшие пожелания сестре и выражая радость по случаю скорой встречи. «Неделю или две назад учителя получили посылку с чаем и сладостями от некой фирмы „Бисли и сын“. У нас, учеников, это вызвало, само собой, немалый интерес – особенно сладости! Не будет ли нахальством с моей стороны попросить, чтобы пакетик от „Бисли и сына“ добрался и до моего рождественского чулка?»

В постскрипуме он спрашивает, позволят ли ему пригласить одноклассника на все каникулы или на несколько дней. «Я не знаю о его планах, – педантично уточняет Чарли, – но очень хотел бы познакомить вас с ним. Он мой лучший друг».

Письмо отправляется с вечерней почтой, а ответ приходит, как всегда, через день. Да, семейство очень ждет его приезда, пишет мать. На каникулах они поедут в свое ирландское поместье, если позволит погода. Да, он может привезти с собой кого пожелает, независимо от происхождения, тем более если этот мальчик дорог его сердцу.

Что касается сладостей, то Чарли приходится перечитывать письмо дважды, чтобы найти ответ на свою просьбу. Он спрятан в той части, где описываются рождественские приготовления – в частности, ель, установленная слугами «только вчера», с ветками «столь пышными и длинными, что в комнате вряд ли останется место для семьи»; «как нет надежды и на то, что Санта-Клаус, которого в книгах с картинками порой изображают весьма дородным, сумеет втиснуться в комнату, чтобы принести подарки». «И это к лучшему, – продолжает мать, – ведь, судя по твоему письму, ты растешь очень быстро и можешь отбросить предрассудки. Особенно важно, чтобы твоим все более зрелым желаниям, будь то рождественский подарок или нечто иное, всегда сопутствовала осмотрительность, как в обществе, так и в личной жизни». Конец абзаца. Следующий содержит многословные напоминания о необходимости носить теплые носки и теплое белье, а также вытираться насухо после купания.

Чарли предпочел бы, чтобы его мать изъяснялась проще, но он уже знает, что такова природа эпистолярного жанра: фразы должны получаться иносказательными и в каком-то смысле поэтичными, иначе письма будут ужасно короткими. Тем не менее он несколько раз пробегает

глазами расплывчатое наставление, касающееся его «желаний». Насколько можно понять, мать велит ему держать рот на замке. Это само по себе необычно, а как ответ на полушутливую просьбу – очень странно. Более чем странно.

Загадочно.

Чарли не на шутку заинтригован.

На следующий день после обеда он отправляется в маленький торговый городок в полчаса ходьбы от школы. Посещение городка – одна из привилегий, которыми Чарли пользуется как старшеклассник, пребывающий на хорошем счету; правда, за весь семестр в город разрешается сходить только раз. День стоит серый и холодный, небо грозит снегопадом. Чарли шагает быстро, стараясь сохранить тепло, но уберечь от мороза руки и ноги невозможно. Город – это ряд лавок: мясная, хлебная, бакалейная и галантерейная. Ближе к реке есть питейное заведение, там же по субботам работает рынок, но школьники не бывали ни там, ни там: их привилегия не распространяется на выходные и таверны. На улочке, отходящей от рыночной площади, имеется еще одна лавочка. К трем часам пополудни, когда пекарь все распродает и хлебный дух не затмевает остальные городские запахи, лавочку эту можно отыскать по одному аромату, сладкому и липкому: аромату печеных яблок с гвоздикой и корицей, к которому примешивается тягучее благоухание черной патоки, пригоревшей на раскаленной жаровне. «Сладости, сухофрукты и орехи Ходжсона» – гласит вывеска. Рядом с буквами – изображение финиковой пальмы, согнувшейся под тяжестью плодов.

Внутри сахарный аромат прямо-таки сбивает с ног, вместе с теплом, которое набрасывается на Чарли, щекочет оттаивающие кончики пальцев и щеки. У прилавка молодая дама покупает засахаренные фрукты и миндаль. У нее невероятно тонкая талия, если смотреть со спины, подчеркнутая пышными юбками. Обслуживает покупательницу сам Ходжсон, приземистый, лысеющий мужчина со следами оспы на лице и аккуратными жестами. У его ног лежит, уткнувшись носом в живот, низкорослая гончая. Собака спит и, судя по тому, как она чертит хвостом полумесяцы и тихонько повизгивает, видит сны. Как хорошо, что животные не дымят, думает Чарли.

Пока женщина не расплатилась, он держится поодаль. Ученикам запрещено всякое общение с противоположным полом, единственное исключение сделано для школьной сестры милосердия. Но здороваться, конечно, можно и нужно. Чарли снимает шляпу, когда дама направляется к выходу, и придерживает для нее дверь. Ей приятно – он видит, как она улыбается. Переходя улицу, дама приподнимает юбки, чтобы они не волочились по грязному снегу; при виде покачивания бедер под осиной талией Чарли заливается румянцем. Лавочник тоже неотрывно смотрит ей вслед, от его затылка исходит легкий дым.

– Н-да, корсеты. Будто воздушный шар перетянули ремнем. Вот-вот лопнет. Сверху. Или снизу. – Он делает яростное движение, наводящее на мысль об удавке. Потом он спохватывается, ведь его собеседник – джентльмен, пусть даже это школьник со всклокоченной шевелюрой под форменной шляпой. – Извиняйте, конечно. Это я в шутку.

Чарли не удивлен внезапной почтительностью, отчасти стратегической, а отчасти искренней. Чтобы ее выказали, не нужно ни полиции, ни магистрата, достаточно одного взгляда на их лица: у лавочника оно почернело от въевшейся сажи, у Чарли – свежее и чистое. И все равно слова Ходжсона о даме ставят Чарли в трудное положение. Как джентльмен, он обязан отчитать торговца. Но с другой стороны, Чарли здесь младший, а его всегда учили уважать старших, независимо от их положения. И, кроме того, он пришел сюда с определенной целью.

Из затруднения его выводит появление нового покупателя. Это викарий, который зашел купить мятных леденцов на два пенса. Чарли тут же уступает ему очередь, становится у двери со шляпой в руках и прислушивается к диалогу. На пути к выходу викарий останавливается,

задерживает взгляд на школьнике и не отводит его дольше, чем хотел бы Чарли. Это уже пожилой человек, с коротко стриженными усами, огибающими рот.

– Прогульщик? – спрашивает он наконец.

– У меня есть разрешение. От школы.

– А. Значит, хороший мальчик. – Викарий сует руку в свой бумажный пакет. – Возьми конфетку.

От не отрывает взгляда от Чарли, пока тот не сует полосатый леденец за щеку. Потом старик принимает.

– Здесь пахнет дымом. Несмотря на все эти сладости. Не твой? Значит, от него. Что ж, так им и положено, этим людям. Попадут прямо в ад. Так заведено Господом. Хорошего дня.

Эту короткую речь он произносит громко, почти оживленно, и наконец уходит. И опять Чарли вместе с лавочником смотрят сквозь большую витрину на широкие темные юбки, колышущиеся при ходьбе.

– Воистину святой человек, – заявляет мистер Ходжсон, звеня в кулаке монетками викария. – Праведник. Пусть и не такой обаятельный, как та леди. – В его тоне странным образом сочетаются почтение и неприязнь: он согласен со словами викария, но в то же время разозлен ими. – Чего же вам угодно, молодой человек?

Чарли ожидал этого вопроса и по дороге в город подготовил ответ, каждое слово. Даже отрепетировал на сельском тракте, когда поблизости никого не было. Но теперь, лицом к лицу с торговцем с его вкрадчивыми манерами, грубыми чертами, внутри лавки с ее давящей атмосферой, он не может решиться.

– Сэр?

– Лакрицы, – импровизирует Чарли. – На пенни.

– Сладкой или соленой?

– Соленой.

– Есть улитки и медальки.

– Улитки, пожалуйста. И четверть фунта лесных орехов.

– Что-нибудь еще?

Чарли опять колеблется. Потом его охватывает внезапный страх: вдруг сейчас вернется викарий или зайдет другой покупатель, и тогда невозможно будет совершить задуманное.

– Банку леденцов. – Он говорит так быстро, что едва разбирает собственные слова. – Фирмы «Бисли и сын». Если нетрудно.

– Что-что?

– «Бисли и сын». Одну жестянку. Или одну горсть, если вам поставляют россыпью.

Лавочник ведет себя загадочно. Первым делом он отступает от Чарли, меряет его взглядом с головы до ног. Заново оценивает его. Но нет, это все тот же тощий школьник в опрятной форме с накрахмаленным воротничком. Тогда он смотрит за спину Чарли, словно ожидает, что там прячется второй человек; потом переводит взгляд за окно, на безлюдную улицу. На его лице отражаются напряженные расчеты.

– Не знаю, о чем это вы. – Дым саваном обволакивает его слова. – Платите поскорее да идите своей дорогой.

И потом, пока Чарли отсчитывает монеты:

– Кто вас сюда послал?

– Никто. Я просто... У наших учителей есть такие. Я видел маленькие жестянки. Обычные леденцы. Как карамель, только прозрачные. Недавно пришла посылка...

Чарли умолкает, не зная, сколько он может рассказать. Школьные дела нельзя обсуждать за пределами школы. Никто не объявлял им этого открыто, и все-таки правило существует. Как в любой семье. Когда за столом у вас сидят гости, есть вещи, о которых не говорят.

– Послушайте, – напористо восклицает лавочник, будто защищая свое доброе имя, – если и была посылка, то не из моего заведения.

Из него опять струится дым, не слишком густой, но какой-то пахучий, оставляя на воротнике торговца темные разводы. Лавочник опять оглядывает Чарли сверху донизу, опять смотрит куда-то вдаль, на улицу, выискивая его сообщников.

– Сколько их там было, парень? Сколько банок?

Чарли мотает головой:

– Не знаю. Один ящик, наверное.

Вдруг Ходжсон смахивает монетки с прилавка на пол и орет:

– Ах ты, врунишка! Вон! Я буду жаловаться! Не думай, будто я это так оставлю. Вон, вон отсюда!

От шума собака просыпается, вскакивает на лапы, прижав уши к голове и выгнув спину, крутится в прыжке в поисках источника опасности. Но Чарли уже отступил к двери и теперь выходит наружу, держа в руке коричневый пакет со сладостями. После удушливого запаха карамели и засахаренных орехов холодный воздух действует как оплеуха. Он видит, как за окном кричит лавочник, потрясая кулаком. Дополнением к его жестам служит высокий, прерывистый лай собаки. Этот лай гонится за Чарли по улице; потом налетает ветер и относит его прочь. Но Чарли все равно бежит без остановки до самой околицы.

Дорога до школы кажется длиннее, чем дорога до города.

Чарли рассказывает ему все, начиная с письма. Первые две минуты Томас слушает рассеянно, потом все внимательнее, откусывая кусочки от развернутой лакричной улитки.

– И что ты думаешь? – спрашивает Чарли после того, как заканчивает свой рассказ.

– Ужасная гадость. Лучше бы ты купил ореховой помадки.

– Я серьезно, Томас.

Он видит, что друг тоже серьезен и обдумывает услышанное.

– Не знаю, – говорит Томас, доев улитку. – Наверное, это какой-то наркотик. Вроде опия.

– Вряд ли. Опий можно купить в любой аптеке. Или лауданум, это то же самое.

– Ну, тогда что-то еще. Вещество посильнее опия. И поэтому запрещенное. – Томас пожимает плечами. – Мы не узнаем, пока не доберемся до этих жестянок. Но вот что я тебе скажу. Лавочник знает, что это такое. И твоя мать тоже.

Чарли закусывает нижнюю губу.

– Да, – говорит он, – я тоже так подумал.

– Получается, знают все. Скрывают только от нас, идиотов.

Через два дня Чарли вызывают к Трауту – вопреки обыкновению, не через Крукшенка. Чарли просто обнаруживает в своей ячейке для писем безымянную записку: «Явиться к директору. Ровно в семь». Записка – событие небывалое, и Чарли сразу понимает, что он пропал. Но делать, конечно, нечего, придется идти. Траут спросит, откуда ему известно о фирме «Бисли и сын». Если Чарли сошлется на Крукшенка, привратника прогонят. Если смолчит, то попадет в зубокабинное кресло. Ему светит трибунал. Возможно, его родителям уже отправили послание.

За ужином безутешный Чарли терзает ножом тепловатую отбивную и наблюдает за тем, как между ним и его товарищами вырастает невидимая стена. Он уже не с ними, просто они этого пока не знают. Томас понял бы его чувства, но его нет рядом: как сквозь землю провалился. Чарли не видел друга с самого завтрака. Никто не поможет ему понять, как свершилось его падение – от примерного ученика до парии.

Чарли рано прибывает к директорской двери и принимается ходить взад-вперед по длинному пустому коридору. За ним неумоимо, как домашние питомцы, следуют комки пыли – отлетают на несколько дюймов при его приближении, а затем гонятся за ним по пятам. Как только он начинает понимать правила их игры, дверь кабинета распахивается, и в коридор высовывается толстая розовая голова Траута.

– Купер! – зовет он; в ответ раздается дробь шагов.

– Явился, сэръ!

Чарли так спешит, что пыль разлетается по углам.

В камине жарко горят дрова, наполняя кабинет смолистым ароматом. Перед огнем стоят два кресла, под углом друг к другу, словно между ними идет конфиденциальная беседа. Траут хлопывает по спинке одного из них и садится в другое. Из-за его комплекции сделать это непросто: он становится к креслу спиной, словно ныряльщик на краю платформы, отводит ягодицы назад, наклоняет вперед плечи для равновесия, затем, крикнув, валится в кресло вперед спиной. Чарли опасно подходит и присаживается на краешек предназначенного ему кресла в скованной позе. Узкое пространство между ручками двух кресел занимает кофейный столик. На нем стоят графин и серебряный поднос с бокалами.

– Портвейн или херес? – любезно спрашивает Траут. Но за любезностью и лоснящимися полусферами его щек поблескивают внимательные глаза.

– Ничего, сэръ.

– Ничего? Чушь. Тогда портвейн. – Траут наполняет два бокала. – Вкус нужно развивать. Как и полезные привычки. Джентльмен разбирается в том, что пьет.

Кажется, Траут не намерен продолжать, пока Чарли не сделает хотя бы глоток: он сидит, поднеся бокал почти к самым губам, и втягивает носом аромат напитка. На протяжении одного безумного мгновения Чарли пребывает в уверенности, что директор пытается отравить его. Но даже если так, выбора нет. Надо пить. В отличие от таблетки, спрятать жидкость под языком или за щекой не получится.

– Ну как вам? – интересуется Траут, когда Чарли ставит бокал на столик.

– Сладко.

– Да. Сильные ноты сливы. И еще какой-то земляной привкус. Возможно, трюфели.

Чарли подозревает, что директор смеется на нем.

– Полагаю, вы знаете, зачем я пригласил вас сюда.

Траут не говорит «вызвал». В этом нет надобности. Правда известна обоим.

Чарли кое-как изображает кивок в знак согласия.

– Ситуация необычная, мистер Купер. Необычная. Не могу припомнить, когда я в последний раз вынужден был пригласить ученика на подобный тет-а-тет.

– Да, сэръ.

– Но с другой стороны, что еще можно сделать? Вы ведь его ближайший друг.

Чарли озадачен:

– Чей?

– Аргайла. – Теперь Траут смотрит на него с подозрением. – Я что-то перепутал?

Чтобы перестроиться, Чарли требуется не меньше трех вдохов. Он старается не поддаваться чувству огромного облегчения, но все же оно накатывает. Его тело соскальзывает с края в глубину кресла.

– Нет, сэръ. То есть да. Я его лучший друг. – Приходит новая тревога, совсем иного рода. – С ним что-то не так?

– Вы и сами это знаете, но, вероятно, не осознаете проблему до конца. Возможно, ему стыдно говорить о ней. – Траут облизывает губы. Облизывает толстые губы толстым языком. На мягкой розовой коже блестит слюна. – Мы беспокоимся об Аргайле. Видите ли, в нем кое-что... растет.

– Он болен? – Чарли кажется, что он говорит нормальным, ровным голосом. Но желудок стянут узлом. Нет, не желудок, а все внутренности, от кишок до диафрагмы. Узел тугой. Нужно несколько часов, чтобы его развязать.

– Болен? Можно сказать и так. В нем растет тьма. Порок. Нет, даже больше, чем порок. *Зло*. Да, боюсь, без этого слова не обойтись. *Зло*. Как если бы ваш друг держал при себе бомбу. Когда она взорвется, тогда... – Траут взбалтывает портвейн в своем бокале. – Понимаете, доктор Ренфрю обнаружил доказательство. В саже Аргайла. *Научное*.

Слову приданы определенный вес, определенная интонация. Не раздражение, а что-то вроде... настороженности?

– И это нельзя остановить?

– Мы не должны терять надежды. Мистер Суинберн рекомендует молитвы. Известно, что они помогают. Например...

Но Чарли больше не слушает. Он думает. Вспоминает, какие вопросы задавал Томас в экипаже на обратном пути из Оксфорда, как пытался разобраться в терминах. «Дым – это симптом», – сказал ему Ренфрю.

Что же тогда зло?

Траут наблюдает за Чарли, причем его язык не успокаивается ни на мгновение. Можно догадаться по движениям губ, как он двигается туда-сюда, ощупывает то зубы, то десны, то кожу за щекой. Это отвлекает Чарли.

– Если это болезнь... – произносит наконец Чарли, облекая мысли в слова. – Если зло – это болезнь, его можно излечить.

Траут кладет ладони на колени.

– Доктор Ренфрю так и думает.

– А вы – нет?

– Можем ли мы излечить туберкулез? А рак? А обычную простуду?

– Когда-нибудь сумеем.

Траут вздыхает:

– Когда-нибудь. Вероятно. Но стоит только выйти в мир и шепнуть об этом... О том, что есть *лекарство*. И мир запылает в огне.

Оба погружаются в молчание, каждый допивает свой бокал. Жар от камина так силен, что он проникает в члены, наполняет их, вытесняет из них силу. Так и сидят они бок о бок – толстяк и подросток.

Чарли сопротивляется истоме, выпрямляется, возвращается на край кресла, словно собираясь встать и уйти.

– Директор, – говорит он совершенно по-взрослому, как ему кажется, – сэр. Зачем вы позвали меня?

– Ах да. – Траут лезет в карман пиджака, извлекает несколько листков бумаги. – Ваш друг Аргайл получил приглашение. От своего дяди из Ноттингемшира. Дядя просит навестить его вместе с семьей на Рождество. Даже не просит, а требует.

Чарли смотрит на директора, потрясенный:

– Вы читаете нашу почту?

Траут краснеет, но смеется:

– Боже мой, нет. Это незаконно. Письмо адресовано мне, конечно же. Оно от самого барона Нэйлора. Дяди Аргайла. – Траут взмахивает конвертом перед носом Чарли, но слишком быстро, и тот не может рассмотреть надпись. – Я бы хотел, Купер, чтобы вы поехали с ним, как его друг. И удержали его от неприятностей. В известном нам смысле.

У Чарли разом возникает множество вопросов, они слетают с его языка беспорядочно и обрывочно, сливаясь один с другим:

– Но я уже попросил у матери разрешения привезти Томаса к нам... Кроме того, вдруг он захочет поехать к себе... И вообще, не могу же я пригласить сам себя?

– Спокойнее, Купер, спокойнее. Давайте по порядку. Нет, Аргайл не поедет домой. Это совершенно невозможно, он и сам вам скажет. И как я уже говорил, дядя Аргайла *требуется* навестить его. Поэтому о приезде Аргайла к вашим родителям не может быть и речи. В конце концов, барон Нэйлор – глава одного из самых известных семейств в стране. Как и ваш отец. Ваши родственники одобряют ваше желание завязать полезные знакомства. Они пошлют письмо барону Нэйлору, объяснив, что вы и его племянник очень привязаны друг к другу и рассчитываете провести каникулы вместе. Достаточно лишь намек. Он, вне всякого сомнения, ответит официальным приглашением. Все это на самом деле очень просто.

Потом Траут говорит небрежно, как будто мимоходом, даже не считая нужным смотреть на Чарли:

– Разумеется, совсем необязательно тревожить барона Нэйлора рассказами о проблеме юного Аргайла. О его *состоянии*. Как и его семью. Чтобы не усложнять жизнь Ар... то есть Томасу. С таким клеймом ему будет вдвое труднее... особенно с учетом позорного поступка его отца. Но к чему говорить все это – вы и так прекрасно понимаете. Вот почему я уверен, что ваше присутствие принесет вашему другу неоценимую пользу.

Траут поднимается с кресла. В других обстоятельствах скрип кожи мог бы показаться комичным. Но глаза директора так пронизательны, что никто не примет его по ошибке за шутника или доброго дядюшку, замученного выделением газов. Он провожает Чарли до двери.

– Я получил большое удовольствие от нашей беседы, мистер Купер, очень большое. Надо будет поговорить еще раз. Возможно, после вашего возвращения. Вы поделитесь со мной впечатлениями о поездке. Думаю, это отличная идея. Своего рода рапорт. Как в армии.

Выйдя от директора, Чарли едва не сталкивается со Суинберном, который стоит в темноте на верхней лестничной площадке и тяжело дышит, словно только что прибежал. Чарли быстро проходит мимо, стараясь внушить себе, что это лишь случайность. На нижней площадке горят газовые лампы, но пыль там не танцует. Только при проходе мальчика она поднимается и парит в воздухе, словно черный снег.

– Так ты едешь со мной как нянька или как шпион Траута?

Они опять сидят на полу умывальни – за ваннами их не видно. Сверху, там, где под самым потолком перекрещиваются медные трубы, сидит паук в треугольнике паутины. Может быть, он мертв – попал в собственную ловушку и погиб. А может быть, и нет.

Чарли пропускает вопрос мимо ушей. Допустим, Томас злится, но ведь и он, Чарли, тоже. Оба сняли сорочки на тот случай, если начнут дымить. Пятен быть не должно.

– Надо было рассказать мне, Томас, – говорит он. – Я же твой друг.

Томас отвечает, не глядя на Чарли:

– Да, Чарли, ты мой друг. Но останешься ли ты моим другом, когда я убью кого-нибудь? Когда я стану той женщиной в петле, а тебе будет казаться, будто моя грязь запачкала твою душу? – Он сердито сплевывает, и от слюны поднимается белый дым. – Я гнию. Изнутри. Тут у меня растет что-то, похожее на рак. – Забыв раскрыть сжатую в кулак ладонь, он трет грудь и живот. – Ренфрю говорит, что на континенте есть машина... Ты становишься перед чем-то вроде зеркала, и в нем видна твоя грудная клетка. Кости, если посмотреть туда, белы как снег. А твой дым похож на туман. Чем чернее дым, тем светлее его отражение. – Он снова сплевывает и смотрит на струйку дыма. – Через год-другой я буду сиять как ангел от своей черноты.

Чарли не знает, что сказать. Он уже думал о том, как пересказать Томасу беседу с директором. «Тебя можно излечить», – хочет он сказать, но слова застревают у него в горле.

Когда-нибудь тебя можно будет излечить.

Это совсем не одно и то же.

– Ты с ним знаком? – спрашивает Чарли. – С дядей, который тебя пригласил?

– Видел его в детстве однажды. Вместе с женой. Помню только лысого мужчину и женщину в нарядном платье на другом конце комнаты. Я был слишком мал, чтобы меня представили. Ну, ты знаешь – *детские годы греха*.

Чарли видит, что Томас снова сплевывает, и понижает голос до шепота:

– Почему ты не можешь поехать домой на Рождество?

Томас фыркает. Струя воздуха окрашена темным цветом.

– Там никого нет. Мать умерла.

– А твой отец?

– Умер. – Теперь он дымит – и через рот, и через кожу. – Опозорен.

– Что он сделал, Томас? Скажи мне.

– Что он сделал? Избил человека до смерти.

Слова падают жестко, коротко, безжалостно. «Вот я какой, – словно говорит Томас, – весь перед тобой, как на ладони». Но также: «Не дави на меня сейчас. А то сломаюсь».

Чарли слышит это и сдерживает дрожь.

– Он избил человека, – повторяет он бестелесным голосом. – Очень хорошо. Как любезно с его стороны. Значит, мы сможем провести каникулы вместе.

Сердце Томаса бьется раз, другой, прежде чем он может что-то сказать или сделать. Его дым меняется, светлеет, становясь скорее серым. Один подросток выдыхает смесь эмоций, второй вдыхает ее. Инфицировать – значит поделиться бременем.

– Придурок.

– Всегда пожалуйста.

Чарли ждет, пока дыхание обоих не выровняется и его кровь не очистится от дыма Томаса. Он словно вернулся в дом после бега наперегонки со штормом – слегка сожалея, что все кончилось. Потом он меняет тему:

– Где ты был целый день? Я обыскал всю школу.

Вопрос преображает Томаса, заставляет его на время забыть о своей обреченности. Он таинственно ухмыляется:

– Ну, сначала я был у Ренфрю. Сидел там целых три часа. А потом я отправился к Фойблсу, чтобы тот помог мне с математикой. – В его глазах мелькает насмешка. – Он весь занервничал: пришел, понимаете, демон в обличье школьника.

– По математике? Но у тебя с ней все в...

В ответ Томас раскрывает кулак, который не разжимал с тех пор, как вышел из дортуара. В нем лежат два небольших кубика, прозрачных, как сосульки. Сначала Чарли не понимает, что это такое, но спустя две секунды его озаряет догадка. От восторга и ужаса спина его холодеет.

– Он поймет, что это ты, – шепотом говорит он.

– Может быть. Там лежало пять штук. Но кто знает, вдруг он не пересчитывал.

– Наверняка пересчитывал!

Чарли пытается представить, как Томас обшаривает стол в кабинете Фойблса, пока тот стоит к нему спиной. Это кажется невероятным. Томас замечает недоумение на его лице.

И улыбается:

– Фойблс оставил меня одного в гостиной. Ему понадобилось свериться с книгами. Похоже, он держит их под кроватью, судя по звукам, которые доносились из спальни. Как будто нужно передвинуть всю мебель, чтобы добраться до Ньютона. Его не было полчаса.

Все еще не в силах поверить в это, Томас трясет головой.

– Ты дымил?

– Чуть-чуть. Но я открыл окно. Когда Фойблс вернулся, запаха почти не осталось. И он был весь поглощен вопросом, который я задал.

«Вор». Чарли старается прогнать эту мысль, но в коротком слове есть и доля восхищения. Его давно озадачивала почти неразрывная связь греха и отваги.

– Ну что, давай? – предлагает Томас. – Вместе?

Они берут по леденцу. Чарли смотрит свою конфету на свет и обнаруживает сбоку клеймо: буквы «Б&С», а сверху – стилизованная корона. Королевская печать.

Прозрачный кубик ничем не пахнет.

– Давай. На счет «три».

Томас считает. Каждый кладет свой леденец на язык, как кусок сахара, осторожно прижимает к верхнему нёбу и ждет, когда конфета начнет таять. Появляется привкус лимона и резкие травяные ноты хлородина. Конфета тает медленно: приходится сосать ее, жевать, катать языком. Чарли ждет чего-то – пощипывания, головокружения, какого-то изменения в себе: прилива сил, внезапной сонливости, алкогольного возбуждения. Но ничего не происходит, вообще ничего. Глядя на Томаса, Чарли понимает, что его друг ощущает то же самое. Наконец они проглатывают последние кусочки. От леденца остается лишь лекарственный запах, впитавшийся в десны, словно ты только что почистил зубы.

Разочарованные, они долго сидят в полном молчании.

– И что это означает? – спрашивает Чарли, когда тишина становится невыносимой.

– Это означает, – говорит Томас, – что мы ничего не понимаем. Ничегошеньки.

Когда они поднимаются на ноги, паук наверху подрагивает, имитируя жизнь.

Суинберн

Мальчик обращается ко мне с вопросом после вечерней службы. Фамилия – Крейцер, имя – Мартин Герман. Первый год старшей школы. Немец. Натурализованный, думаю, как и вся семья, уже несколько поколений.

Но все-таки.

– Сэр, – спрашивает он, робея, возможно на спор, – что такое театр?

Он не дымит, когда произносит эти слова, а значит, считает вопрос безопасным. Я заставляю его встать на колени. Боль в коленях – польза для души. Он читал мистера Уильяма Шекспира, признается он после недолгих расспросов. Сборник пьес. Где он взял книгу? Этого он не может сказать.

Старшекласснику не пристало плакать.

Все это я довожу до сведения Траута. Книга получена от брата: Крейцера, Леонарда Майкла, пятью годами старше. Хорошо его помню. Пустоголовое ничтожество. Никогда бы не подумал, что он способен на столь чудовищную распущенность.

– Следует отправить письмо родителям, – говорю я. – И провести расследование.

Траут ни в какую. Мягкотелый он, наш директор, или же *легко приспособливается*. Сейчас время перемен: куда дунет ветер, туда он и повернется.

– Заберите книгу, – говорит он, – и оставим это.

Оставим это. Он ведь не слышал, как мальчишка ныл: «Пожалуйста, сэр, я не понимаю. Почему театр запрещен?» Сопли висели у него на губе, как мокрые усы.

Я мог бы ответить ему, само собой, мог бы наизусть зачитать стратфордский вердикт («Полагая, что театр изображает грех и делает его предметом развлечения; что он заставляет плохих актеров совершать греховные действия без появления дыма, а хороших актеров – настолько вживаться в греховное состояние, что их преступление проступает сквозь кожу; что в первом случае создается иллюзия, будто грех возможен без дыма, а во втором слуги за плату калечат душу на потребу зрелищности; что все это дело является непристойным и скверным, неподобающим для джентльменов и опасным для толпы; что вынесенные из театра уроки и нравственные выводы, сколь бы благочестивы они ни были, затмеваются словесным буйством и пустыми криками; что театры – это коровники, покрытые сажей; ввиду всего этого, властью, возложенной на нас Коронай, мы отныне и навсегда запрещаем и объявляем вне закона постановку, распространение, написание и чтение театральных пьес, равно комических и трагических, исторических и романтических, в наших владениях, с этого дня» и так далее и тому подобное), но дело не в этом. Дело в послушании. Мальчик не должен задавать вопросов. Воистину, дует новый ветер. Дует в паруса таких, как Ренфрю. Иногда по утрам он доносит лондонскую вонь до самой школы.

Это еще не все. Начал дымить Спенсер. Джулиус, наш лучший ученик, *primus inter pares*. Его видели выходящим из кабинета Ренфрю с сажей на рукаве. Чистый мальчик, чистейший из всех, что были у нас. Испорчен собственным наставником.

И присутствием того, другого ученика. Аргайл, Томас Уинфрид. Дитя порока. Он дымит почти ежедневно, прямо как сын рабочего в период мужания. Даже слуги избегают его – и кухарки, и землекоп, живущий в хибаре на южном поле. Он благородного происхождения, этот Аргайл, если не подвергать сомнению честь его матери. И все же вульгарный, как грязь. С именем его отца связана какая-то тайна, но Траут запретил любые расспросы под страхом увольнения. Должно быть, у Аргайла действительно могущественный покровитель.

Пока что Аргайла призвал к себе один из знатнейших людей страны, барон Нэйлор, лорд Стэнли-холла, маркиз Томонд. Но его уже десять лет никто не видел и не слышал. Утратил милость королевы, говорят; лишился ее доверия. Траут посылает Купера, Чарльза Генри Фер-

динанда. Будущего графа Шефтсбери. Этот рыжий породистее любого победителя собачьей выставки; его отец – как маяк в наше смутное время. Должно быть, он разочарован сыном.

Само собой, Траут захочет получить от мальчика отчет. Хорошо бы знать, действует ли он в интересах государства или своих собственных. Если здесь замешано государство, то какие именно из его институтов? Ведь там, где раньше было единство, теперь сплошной раздор: соединенное королевство крошится, как корабельный сухарь.

Новый либерализм. Наука. Самоуправление. Прогресс. Модные слова, служащие прикрытием для ереси. Грех, возведенный в ранг политического движения. И восседает он прямо в парламенте, у всех на виду.

Ренфрю – либерал.

Задайте себе вопрос: кто проверяет его белье?

Часть вторая. Поместье

Взгляни на команду, друг Старбек! Разве все они не заодно с Ахавом против Белого Кита? Погляди на Стабба! он смеется! Погляди вон на того чилийца! он просто давится от смеха. Может ли одинокое деревце выстоять в таком урагане, Старбек?.. (В сторону.) Что-то выбилось у меня из расширенных ноздрей, – и он вдохнул это. Теперь Старбек мой; теперь ему придется подчиниться, либо пойти на открытый бунт.

*Герман Мелвилл. Моби Дик, или Белый Кит
(перевод с английского И. Бернштейн)*

Уроки

Они отправляются поздним утром. По расчетам Томаса, они должны прибыть задолго до наступления темноты, но из-за двух пересадок не успевают на поезд из Рагби. Это унылая и безлюдная станция, с деревянными скамьями в зале ожидания, расставленными перед холодным очагом. Кондуктор говорит, что через час придет другой поезд, но вот часы уже показывают три, потом четыре, потом пять, и наконец вновь появляется служитель, застегнутый на все пуговицы и источающий запах дыма и бренди, и объявляет, что на линии произошла задержка.

Поезд подают лишь в восемь вечера, когда юные путешественники уже вконец продрогли. В купе на багажной полке стоит стопка сложенных одеял. Они стаскивают ее вниз и заворачиваются в однотонную коричневую шерстяную ткань. На вид она чистая, только пахнет неприятно – гнилыми опилками.

За последний час Томас и Чарли почти не разговаривали. Долгий день, проведенный в ожидании, истощил темы и силы, и главной заботой мальчиков стала борьба с голодом. Последний бутерброд и последнее яблоко были съедены вскоре после Оксфорда – мальчики кусали по очереди, причем каждый старался, чтобы последний кусок достался не ему. В результате они со смехом передавали друг другу жалкий огрызок яблока, отщипывая от него понемногу, пока Томас не проглотил его целиком, с черенком и семечками, едва не подавившись от хохота. Теперь молчание – третий пассажир в купе, а снаружи вагон терзают порывы ветра.

– Есть хочешь? – в какой-то момент спрашивает Чарли, чтобы заглушить урчание в животе.

– Нет, – врет Томас. – А ты?

– И я нет.

– Устал?

– Ни капельки.

– Я тоже.

Когда поезд тормозит, оба вздрагивают и машинально сбрасывают одеяла, начинают доставать багаж, но потом понимают, что это не их остановка. Всякое представление о времени утеряно. Темнота давит со всех сторон, и единственный газовый фонарь на платформе не разгоняет ее, а, наоборот, сгущает. Ветер мечется, как живое существо, обшаривает окна в поисках добычи, сует в щели пальцы и языки.

Постепенно зрение адаптируется, и Томас понимает, что платформа не так пуста, как ему показалось сначала. У дальнего угла станционного здания, с подветренной стороны, столпилось несколько человек – мужчин, женщин, детей. Всего их около дюжины; почти все встали в круг, лицом к центру. Поезд вновь начинает движение, и вот окно, в которое смотрят Томас и

Чарли, поравнялось с группой людей. Выражения лиц в темноте не разобрать, но жесты и позы говорят о крайнем возбуждении: сжатые кулаки, раскрытые рты, широко расставленные ноги. В середине круга сцепились в поединке двое – один оказался под другим, и тот, что вверху, обнажен до пояса. Сценка пронесется мимо окна так быстро, что нельзя понять, то ли это двое мужчин, то ли мужчина и женщина; борются они или заняты чем-то более интимным. Дым окутывает группу, словно туман, буря отрывает от него куски и раскидывает по близлежащим деревьям, где этот ветророжденный грех оседает на амбары, дома и деревья.

Потом все исчезает.

Чарли и Томас еще долго смотрят в окно после того, как группа людей остается позади, хотя стекло, запечатанное сельской непроглядной темнотой, превратилось в зеркало с потеками дождя.

– Торговцы? – наконец высказывает догадку Чарли. – Циркачи? Ирландцы?

Томас качает головой:

– Кто знает.

Слова пропитаны знакомым привкусом; зеркало отражает тень, вылетевшую у него из рта.

– В такой вот компании, – продолжает Чарли, – они заражают друг друга снова и снова. Маленький бродячий Лондон. – Он вздыхает. – Хотел бы я знать, как их спасти.

– Спасти? С какой стати? Надо оставить их в грязи. Они заслужили. Разве не в этом смысл дыма?

Фразы вылетают неправильные, злые и некрасивые. Чарли смотрит на него потрясенно. Снедаемый страхом, что Томас действительно так думает. Чужой запах, заполнивший купе. Томас пытается найти слова, чтобы объяснить, но сказанное невозможно зачеркнуть. И как объяснить отчетливое желание, стеснившее ему грудь: вернуться и присоединиться к стоящим в круге, узнать, что делают те двое, полуобнаженные, на мерзлых кирпичках неведомой станции?

– Скорее бы уже приехать, – говорит он, кутаясь в одеяло, и Чарли остается только переживать за его, Томаса, душу.

К месту назначения они прибывают, наверное, уже после десяти. Точнее трудно сказать: станционные часы не работают, у Томаса нет наручных часов, а Чарли только сейчас соображает, что забыл завести свои. Кучер барона Нэйлора встречает их на платформе. Это высокий бородатый мужчина, который дрожит от холода и нервничает. На нем длинная шинель. Он настаивает на том, чтобы забрать у мальчиков багаж, делает с десятков шагов и опускает вещи на землю.

– Слишком поздно запрягать лошадей, – говорит он: это одновременно обвинение и оправдание. – Вас ждали к трем. Даже тогда было бы трудно ехать, сейчас рано смеркается. А путь неблизкий.

– Тогда мы заночуем здесь, – рассудительно предлагает Чарли.

Кучер кивает, наклоняется, чтобы поднять саквояжи, опять выпрямляется.

– Тут нет постоянного двора.

– А зал ожидания?

– Заперт.

– Но где же нам...

Со вздохом кучер вновь берется за вещи и идет с мальчиками к лесенке, ведущей с платформы вниз, после чего они проходят во внутренний двор вокзала. Там стоят два ряда обветшалых конюшен, скрытые от взглядов публики за высокой кирпичной стеной. Ни одна лампа не освещает дорогу, и, пока они гуськом пробираются между стойлами, почти в полной темноте, Чарли кожей ощущает на себе взгляды животных. Его уши чутко ловят каждый звук: вот переступили копыта, вот резко дернулась лошадиная морда; тут шумно выдохнули горячий

воздух, а тут зачмокали мясистыми губами. Буквально в футах от его головы скалится конь, и в этот миг на кривые желтые зубы, торчащие из бесцветных десен, падает случайный луч света. Чарли от испуга останавливается. В него врывается Томас, бормочет ругательство, кладет руку ему на плечо.

– Жутковато?

– Просто споткнулся, – говорит Чарли и думает, что, наверное, неплохо иметь такого брата – чуть постарше, готового в минуту опасности постоять за тебя.

Они подходят к двери; кучер распахивает ее с некоторым трудом. Помещение освещается единственной сальной свечой. Внутри тесно, пахнет сеном и лошадьми. Спиной к стене сидят трое мужчин и курят дешевые короткие трубки; еще двое растянулись на холодном полу под вытертыми одеялами, и невозможно сказать, отдыхают они, спят или же мертвы. Не звучит ни единого слова: здесь не здороваются с вошедшими, не говорят между собой.

– Здесь спят кучера, – говорит человек барона Нэйлора. – Вообще-то, не положено... То есть джентльмены сюда обычно не заходят. – Он находит свободный пяточок у входа, пристраивает саквояжи, разматывает шарф, под которым обнаруживается шрам от старого ожога. – Только я не знаю, куда еще...

– Подойдет, – решает Чарли. Томас без единого слова опускается на корточки и расстилает на полу пальто.

Кучерская настолько невелика, что, когда рядом с ним ложится Чарли, они оказываются стиснутыми между распростертыми людьми и курильщиками. В дюйме от лица Чарли покоится чужая рука – крупная, с татуировкой на складке между большим и указательным пальцами, с костяшками, черными от грязи или сажи. Чарли не может разобрать, что изображает татуировка, пока ладонь не выпрямляется на деревянных половицах, словно животное, которому нужна опора для прыжка. А, понятно: это русалка с голой грудью и широкой улыбкой.

– Мы тут насмерть замерзнем, – раздается шепот Томаса: это шутка, но лишь наполовину. Они смыкаются спинами, чтобы сберечь и разделить остаток тепла, который еще сохраняется в их телах.

Так они проводят полночи; вокруг кашляют незнакомцы, танцует русалка на грязной коже, груди ее сжимаются, растут, подмигивают при каждом движении могучей руки кучера.

К рассвету мальчики закоченели настолько, что им приходится поддерживать друг друга, когда настает время залезать в повозку. Они забираются на мягкие сиденья и проваливаются скорее в беспамятство, чем в дремоту.

Поездка похожа на сон: полдюжины разрозненных картин сплетаются воедино без всякой привязки ко времени. Они отправляются в предрассветных сумерках, со всех сторон – волнистые холмы, с угольными башнями и дымовыми трубами далеко на горизонте. Кажется, что звуки, слышимые в дороге, доносятся сквозь кожу, а не через уши, слипаются в комки шума, на распутывание которых нет сил: вот хлюпнула под колесами грязь колес, вот щелкнул кнут кучера, вот испуганно заржала лошадь, поскользнувшись в луже. Один раз Томас пробуждается и видит руины ветряной мельницы, усыпанные бисером мелких птичек; солнце в этот момент находится у них за спиной, и повозка едет в собственной тени длиной в милю. В следующее мгновение, отделенное от предыдущего многими милями, но в его сознании отстоящее лишь на одно движение ресниц, они прибывают. Повозка останавливается перед длинным крылом каменного здания, потемневшего от дождя. Выбегает дворецкий с зонтом в руке и сопровождает их до боковой двери. Это всего десять шагов. Под ногами хрустит гравий.

– Премного рад вашему прибытию, мистер Аргайл, мистер Купер. Полагаю, вы голодны? Позвольте проводить вас в комнату для завтрака.

При упоминании завтрака живот Чарли рычит, как обиженный пес.

Они садятся за стол. Большая комната обставлена весьма торжественно: накрахмаленная скатерть, жесткие стулья с высокими спинками, элегантные приборы из серебра. За столом могут поместиться десять человек, но сейчас за ним сидят только мальчики. Оба неловко ютятся на краешке стула, боясь запачкать обивку. Дворецкий ушел. В дверь слева от стола просачиваются запахи с кухни, но еду пока не принесли. По стеклянным дверям террасы стекают тяжелые холодные струи – идет дождь.

Потом появляется служанка. Ей лет восемнадцать или девятнадцать. Бросив на приезжих взгляд из-под пушистых ресниц, она опускается на колени перед камином и начинает разжигать огонь. Она чиркает спичкой, подносит ее к обрывку газеты, уже смятому, лежащему среди углей, повторяет действие; потом, чуть ли не касаясь подбородком пола, сгибается, чтобы раздуть пламя. Мальчики – осовелые, клюющие носами, усталые после дороги – не видят выбора: приходится смотреть на девушку. А точнее – на зад девушки. Из-за ее позы этот зад, приподнятый и туго обтянутый юбкой, выглядит невыносимо круглым. Когда бурчит живот (Томас? Или опять Чарли?), звук кажется жалобным, просящим. А девушка все стоит на коленях и дует на угли.

– Думаю, угли уже занялись.

Томас и Чарли не слышали, как она вошла, и одновременно оборачиваются. Они могли бы быть зеркальным отражением друг друга: обе головы повернуты, оба лица покрыты румянцем. Только на щеках Чарли краска гуще. Он ведь рыжий. К таким людям природа немилосердна. Румянец – это разновидность дыма, знаменующая другой вид греха. Нет ни малейшей надежды на то, что леди не заметит.

А это, безусловно, леди, хотя и не старше их. Невысокая, но держит себя так, что выглядит рослой. Длинное простое платье покроем напоминает рясу. Маленькое лицо – бледное, суровое, спокойное и холодное.

И красивое.

Губы ярко-алые, это их природный цвет.

– Подойди, пожалуйста, – говорит она, обращаясь не к мальчикам, а к коленопреклоненной служанке.

Девушка повинуется, поспешно, но без энтузиазма. Ее большие глаза сначала останавливаются на Томасе, потом утыкаются в пол. Блузка тесно облегает грудь, а юбка слегка задирается на выпуклых бедрах.

– По-видимому, твоя одежда села при стирке.

Она произносит все это не строго и не громко, без всякого приказного тона. Всего сильнее в ее голосе звучит терпеливая грусть; воплощенное смирение, которое против его воли принудили к действию. Рядом с пышной, крупной служанкой она кажется миниатюрной, даже хрупкой.

«Эльф», – думает Чарли.

Томас думает: «Монашка».

– Будет лучше, если ты снова поработаешь судомойкой. Пока не научишься быть менее назойливой.

– Но леди Нэйлор обещала мне...

– До нового года.

– Но она сказала, что я...

– Тогда до весны. Теперь можешь идти.

Ход событий убыстряется. Первым появляется дым – внезапный фонтанчик, который вскипает на груди девушки и оставляет пятно на накрахмаленной хлопковой ткани. Потом приходят слезы: прозрачные и беззвучные, они тянутся от темных глаз к подбородку. За ними следует всхлип, возникающий в глубине груди и сотрясающий девичье тело. Наконец, служанка

убегает, забыв о всяких манерах, и звук ее башмаков на плоской подошве еще долго слышится из-за двери.

– Приношу вам свои извинения. Мисс Ливия Нэйлор. Вы мистер Аргайл, полагаю? И мистер Купер? Приятно познакомиться. Мы ждали вас еще вчера. Разумеется, время завтрака давно прошло. Но это не важно, еду уже несут. Садитесь. Я составлю вам компанию.

Оба садятся и едят под ее пристальным взглядом: терпеливый, чинный, смиренный, он приводит их в невыразимое смущение. Чарли кажется, что тосты во рту превращаются в пепел, а чай – в гнилую воду. Но, будучи хорошо воспитанным мальчиком, он заставляет себя поддерживать беседу.

– Благодарю за теплый прием, мисс Нэйлор. А ваш отец, барон, присоединится к нам этим утром?

Но девушка ничем ему не помогает.

– Мне велено передать, что ему нездоровится.

– Какая жалость. Тогда, может, ваша мать?

– Она уехала.

Чарли видит, что все его попытки отвергаются, но не готов признать поражение и добавляет с несчастным видом:

– Полагаю, вы приехали домой на каникулы. Совсем как мы. То есть мы, конечно, приехали не домой. Но все равно...

Девушка внимательно и терпеливо ждет, когда он закончит фразу. Однако Чарли уже не понимает, что хотел сказать, прячется за чашку с чаем и приходит в ужас от громкого хлопанья, когда пытается сделать беззвучный глоток.

Его спасает Томас.

– Вы, случаем, не староста? – спрашивает он с полным ртом и опасной ноткой в вопросе. – В своей школе?

Она невозмутимо смотрит ему в глаза:

– Да, мне выпала такая честь. Как вы догадались?

Мальчики не могут справиться с собой: оба начинают хихикать, сначала тайком, потом открыто, сотрясаясь всем телом, так что даже краснеют, а она наблюдает за ними, спокойно, и смиренно, и неодобрительно, пока истерика не сходит на нет вместе с аппетитом. Является дворецкий, чтобы показать гостям отведенную им комнату.

– У нас ужинают рано, в пять часов.

Таковы были прощальные слова Ливии. К тому, что им уже было известно, дворецкий добавил только одну существенную деталь, указав расположение ванной – прямо напротив комнаты, в которой их поселили. Он также высказал надежду, что гости «почувствуют себя лучше, когда освежатся», и Чарли сделал вывод, что от них с Томасом дурно пахнет. Обстановка изящная, но скудная: две кровати, шкаф, маленький стол и стул. Комната также расположена на первом этаже, через широкую стеклянную дверь можно выйти прямо в сад. На часах – без четверти одиннадцать. Когда Чарли возвращается после купания, стрелки показывают двадцать минут двенадцатого, а его друг стоит перед открытой дверью и смотрит, как по садовой дорожке расхаживает фазан. Томас высовывает голову под проливной дождь, и Чарли слышит, как он считает окна в их крыле. Дойдя до трех дюжин, он бросает это занятие и оборачивается. По его лицу текут струйки.

– Твой дом похож на этот, Чарли? – Он зачем-то указывает на марширующего фазана, пошедшего на новый круг.

Чарли задумывается.

– В смысле такой же большой, с таким же садом? Да, пожалуй. Даже еще больше. – Он пожимает плечами. – А твой?

– Мой скорее похож вот на это.

Чарли не сразу замечает за пеленой дождя садовый сарай, прижавшийся к темной полосе деревьев.

– Ты скучаешь? По дому?

Во взгляде Томаса сквозит холод.

– Нет. – Он берет халат и полотенце. – Я тоже пойду мыться.

Время движется еле-еле. Кажется, что до пяти целая вечность. Дождь хлещет без остановки, делая невозможным исследование сада. Вместо этого мальчики выходят в коридор и обнаруживают, что большинство дверей заперто. Дом выглядит заброшенным. Подняться по лестнице и осмотреть остальные его части, наверное, было бы невежливо, а после того, как в лестничном проеме, вроде бы ведущем на половину прислуги, мальчики натываются на жесткий взгляд дворецкого, они ретируются к себе в комнату и наблюдают за тем, как мучительно медленно идут часы. В половине четвертого они переодеваются в парадные костюмы и только тогда спохватываются, что забыли вывесить одежду или попросить погладить ее. В результате рубашки и куртки выглядят безнадежно измятыми. А сюртук Томаса, скроенный по какой-то давно забытой моде, к тому же подвергся нападению моли. Нижняя часть левого рукава проедена насквозь. Приходится прижимать локоть к боку, чтобы скрыть проплешину, отчего походка становится неловкой. Когда стрелка часов неохотно подползает к пяти часам, нервы уже истощены от скуки. В три минуты шестого мальчики начинают опасаться, что за ними никто не придет.

– Можно позвонить, вызвать слугу, – предлагает Чарли.

– А вдруг заявится *она*. И отчитает нас.

– Непохоже, чтобы *она* отвечала на звонки. Может, придет другая девушка.

– Та, что с большими...

Томаса прерывает стук в дверь.

– Ужин, – раздается голос дворецкого. – Леди Нэйлор ожидает вас.

Леди Нэйлор великолепна в длинном, до пола, вечернем платье из бархата и шелка. При появлении мальчиков она поднимается со стула, здоровается с ними за руку, бросает на Томаса странный ищущий взгляд. Чарли не понимает, что происходит с другом: тот немедленно погружается в задумчивость, будто пытается что-то вспомнить. Так он и садится за большой обеденный стол – с наморщенным лбом. Чарли сидит напротив Томаса, отделенный от него четырьмя футами накрахмаленного камчатного полотна. Справа и слева от фарфоровых тарелок положены столовые приборы – по пять штук.

– Надеюсь, путешествие было приятным.

Мальчики переглядываются. Оба вспоминают кучерскую с холодным полом и тревожное выражение на лице возницы, когда тот объяснял, что постоянного двора на станции нет.

– Очень, – говорят они почти хором.

– Я рада.

Входит мисс Нэйлор. На ней все то же, по-монашески скромное, платье, в котором она была за завтраком, только на шее появилась нитка жемчуга. Пока она идет к столу, чтобы сесть напротив матери, мальчики довольно неуклюже встают, роняя салфетки. Сразу же после этого слуга вносит супницу.

– Прошу вас, – говорит леди Нэйлор после беглой молитвы, – начинайте. Мы здесь не очень-то соблюдаем этикет. – Нелепость этого заявления подчеркнута лучезарной улыбкой. Ее

дочь хмурится и зачерпывает суп с такой беззвучной точностью, что сидящий по соседству Чарли чувствует себя свиньей у корыта.

– Смею надеяться, ваши родители здоровы, мистер Купер.

– Здоровы, благодарю вас.

– Это очень великодушно с их стороны – отпустить вас к нам в эти праздничные дни.

Чарли вспыхивает:

– Вовсе нет.

– Ливия, ты забыла рассказать мне, что мистер Купер – исключительно обаятельный юный джентльмен. И мистер Аргайл, разумеется, тоже. – Она снова улыбается, на этот раз с тонким озорством. – Должна сказать, что ее отчет был весьма несправедливым.

– Мама! Я настоятельно требую не лгать. – На скулах девушки выступает краска.

– Видите, как мы здесь живем, – обращается ее мать к гостям. – Под тяжелым башмаком у блюстительницы нравов.

Обеду не видно конца. За супом следует язык в желе, за языком – утка в соусе из красного вина, затем жареная свинина с пастернаком, сливовый пудинг, сыр и кофе. Несмотря на весь шарм леди Нэйлор, она не в силах вытянуть из своих гостей больше полудюжины слов. Даже ее дочь упорно не желает вовлекаться в пикировку. Несколько раз она явно сдерживает себя изо всех сил, но в целом принимает уколы матери с покорностью мученика. Чарли внимательно наблюдает за всеми: за Томасом, который стесняется своего побитого молью смокинга, ест мало и главным образом пережевывает какую-то мысль; за Ливией – тонкой, красивой, которой неловко от поведения матери и за мать; за леди Нэйлор, ухоженной дамой лет сорока с высокой прической над подвижным, накрашенным лицом и с тонкими губами, подведенными яркой помадой. По большей части она обращается к нему, к Чарли. Кажется, Томас интересуется ее меньше, но изредка она бросает на него мимолетные вопрошающие взгляды. Эти взгляды занимают Чарли так сильно, что он забывает о еде.

Наконец убрана последняя перемена блюд. Леди Нэйлор поднимается. Чарли и Томас торопливо вскакивают со стульев.

– Торп проводит вас, – объявляет она и показывает на пространство позади них. Оказывается, Торп, дворецкий, уже в столовой: уму непостижимо, откуда он взялся. Его лицо идеально воплощает идею пожизненной службы и настолько лишено всякого выражения, что заставляет думать о полном равнодушии дворецкого к любым событиям, важным и мелким. И уж определенно его не волнует то, насколько хорошо и удобно гостям.

– Если понадобится что-нибудь еще, обращайтесь к нему, пожалуйста.

Леди Нэйлор опять пожимает обоим руки, опять на долю секунды задерживает взгляд на Томасе, затем берет дочь под локоть и уходит с ней.

– Доброй ночи, – произносит им вслед Чарли, но слишком поздно, чтобы получить ответ.

– Сюда, прошу вас.

Дворецкий, как тюремщик, ведет мальчиков прямо в их комнату. Там он передает ответственность напольным часам, чьи узорчатые стрелки отмеряют срок заключения. Еще нет и семи. Ужин закончен, их отослали в спальню.

Пожалуй, тут хуже, чем в школе.

– И как они тебе?

Чарли думает над ответом. К чему спешить? Времени предостаточно.

– Мать – сплошь духи и очарование. А дочь...

– Дегтярное мыло и молитвенник.

Друзья смеются, но им не весело. Комната уже кажется тесной, кровати – узкими и слишком мягкими. Они открывают двери на террасу и сидят там, замерзшие, глядя в черную дождливую ночь. На ветру.

Лишь бы почувствовать себя живыми.

– Ты ее узнал? – спрашивает Чарли, поднимаясь, чтобы изучить книжную полку. Там неполный комплект энциклопедии – тома от «Аа» до «Ре», Библия, шахматы в деревянном ящике, игральные карты, пыль. – Леди Нэйлор? Мне показалось, что узнал.

Томас начинает мотать головой, потом пожимает плечами:

– Не уверен.

– Далекое воспоминание? Из детства?

– Нет, дело не в этом. Что-то еще. – Он ищет нужное слово, строит гримасу, когда не способен точно определить свои ощущения. – Кого-то она мне напоминает. Лицом, манерами. Кого-то из школы, кажется.

– Одного из учителей?

– Может быть.

Они сидят еще некоторое время, встают, открывают дверь в безмолвный сквозняк коридора, снова закрывают ее, выходят на террасу, мокнут под дождем. Из ночной тьмы не доносится ни звука. Даже бродячий фазан покинул их. Если где-то в доме и горит свет, он надежно скрыт гардинами и ставнями.

В конце концов Томас запирает стеклянную дверь и плюхается на кровать.

– Совсем не так я это себе представлял. Наш приезд сюда. Думал, что будет... ну, не знаю. Какое-то противостояние. Еще одно зубодробительное кресло. Или наоборот – как мой дядя объясняет устройство мира. Открывает секреты. – Он хмурится при мысли о собственной наивности. – В любом случае какое-то приключение. Но похоже, у него был совсем другой план. Нас хотят уморить скукой.

– Может, мы должны послужить дурным примером для его дочери. – Чарли стряхивает с себя уныние и вновь подходит к книжной полке. – Как насчет партии в шахматы? Или в шашки?

Но Томас слишком безутешен, чтобы ответить другу.

Он просыпается через час после того, как лег в постель. Томаса будит не сон, а мысль. Он вспомнил, где он видел ее раньше.

Видел *леди Нэйлор*.

Из комнаты он выходит в ночной сорочке. Вообще-то, его одежда сложена на стуле, а где-то на крючке висит халат, но не хочется будить Чарли.

В коридоре босые ноги беззвучно ступают по ковру. Томас спрашивает сам себя, что он ищет. Наверное, доказательство. То, что сделает уверенность фактом. Пока не ясно, где искать доказательство и каким оно может быть. Но все равно, оставаться в комнате наедине со своей догадкой и ночь напролет тарашиться в темноту невозможно. Томас идет медленно. По его спине пробегает дрожь. Немного погодя он понимает, что холод тут ни при чем.

В доме темно, но кое-что разглядеть можно. Там и сям краснеют угли в каминах. В столовой горит газовая лампа, прикрученная до минимума. В кухню пробивается свет из подвала, где обитают слуги, оттуда же доносится мягкий, высокий смех одной из девушек. Томас задерживается, чтобы насладиться моментом. Теперь ноги обжигает холодом каменная плитка.

Добравшись до холла, Томас находит широкую спиральную лестницу. Крутая черная дуга перил сама ложится под ладонь. На втором этаже обнаруживается новый источник света – ярче остальных, встреченных до сих пор: он оставляет под дверью аккуратную белую линию. Томас останавливается перед ней и прислушивается; поднимает было руку, чтобы постучаться, но вместо этого нажимает на ручку. Может оказаться, что он войдет в спальню Ливии или в

уборную, где уже кто-то есть. Но стучаться, принимая роль покорного просителя (ведь стук в дверь – это приглашение дать тебе от ворот поворот), – это не для Томаса. Не сейчас. Во рту такая горечь, что не нужно смотреть на сорочку: и так понятно – он дымит.

За дверью – кабинет дамы, просторный и хорошо обставленный. Владелица отсутствует, но о ней красноречиво говорят бордовые обои с золотистым узором – слишком игривые для мужчины, слишком пышные для дочери. Письменный стол служит дополнительным подтверждением: он сделан из палисандра и инкрустирован другими, более светлыми породами. Взгляд Томаса падает на медный нож для вскрытия конвертов в форме кинжала, достаточно тяжелый, чтобы служить оружием. Томас берет его в руку и усаживается. Его охватывает приступ дерзости. На стене перед ним плотно развешаны два десятка полотен. Он сидит и смотрит на картины невидящим взором; дым стелется перед его лицом, точно туман.

Довольно скоро дверь открывается, и входит хозяйка кабинета. По-видимому, леди Нэйлор ничуть не удивлена, увидев посетителя.

– Томас! Я рада, что вам нравится моя коллекция картин.

В его горле рождается голос, в котором Томас узнает отцовский тембр: хруст гравия под тяжелыми сапогами. Прошли годы с тех пор, как этот голос в последний раз звучал в его ушах; Томас никогда не слышал его в оригинальном исполнении.

– Я искал вашу бритву, миледи. И ваши накладные усы. Я не мог заснуть, пытаюсь догадаться, что вы сделали с сажой мертвой женщины.

– Ага. Значит, вы узнали меня. – На леди Нэйлор шелковый халат, густая синева которого красиво оттеняет цвет ее темных волос. Она пристально смотрит на Томаса, потом падает в кресло у дальнего края стола и расправляет на бедрах синюю ткань. – Вы поняли это уже за ужином?

– Нет.

– Я так и решила. Трудно было в такое поверить.

Она смеется. Это короткий смешок, почти кашель, но в нем слышна нотка искреннего юмора.

– Что ж, мне стало легче, – продолжает она. – Честно говоря, неприятно было думать, что напротив сидит мальчик с железной выдержкой. – Все еще посмеиваясь – почти одними глазами, – она качает головой. – А я не сомневалась, что вы сразу же узнаете меня. Понимаете, я-то узнала вас еще там. Под помостом. Вы совсем не изменились с раннего детства. Те же глаза, тот же вздернутый подбородок. Воинственный. Но какое лицо у вас было в тот раз! Перепуганное! Я думала, вы станете выкрикивать мое имя и обвините меня прямо перед толпой народа. Но вы никому не рассказали обо мне. Даже в школе. Я ведь наблюдала за вами, знаете ли, боялась, что вы очерните мое имя. Вы мне изрядно попортили нервы. В конце концов я решила пригласить вас сюда и поговорить начистоту.

Томас не хочет отвечать, потому что не полагается на свою выдержку. Она вновь встает перед его глазами – в мужской одежде, с волосами, спрятанными под шапку. Грязное лицо кажется юным, ибо оно по-женски миловидно, но возраст все равно угадывается. Он вздрагивает, когда леди Нэйлор встает с кресла и подходит к стене.

– Как я понимаю, вы рассматривали картины. Необычные, правда?

Он пожимает плечами, стремясь понять ее. Нож для конвертов он по-прежнему стискивает в кулаке – так сильно, что болит рука.

– Вам так не показалось. Тогда взгляните еще раз. Поверьте, Томас, вы никогда не видели подобных картин. Скажите, что обычно изображают художники?

Ее голос странно действует на Томаса: замедляет сердцебиение, успокаивает. Отвечает он угрюмо; поднимается и прикидывает расстояние между ними.

– Да все подряд. Пейзажи. Людей.

– Опишите их. Те картины, которые вам доводилось видеть. Например, в школе.

– Там их немного. У директора несколько штук, в его кабинете. На одной охотничья сцена, кажется. Джентльмены верхом на лошадях. И берег. Солнце и вода.

– А что на этих?

Почти против воли он делает шаг вперед, туда, где рама висит рядом с рамой, так что стены почти не видно.

– Люди. Уличные сцены. Простолюдины. – И тут до него доходит. – Город. Но...

– Вот именно, что «но». Дыма нигде нет.

Томас снова осматривает полотна, одно за другим. Многие выглядят очень старыми. Вот рынок: люди торгуются по обе стороны прилавков, какой-то мальчишка крадет яблоко, а его брат наблюдает за этим. Потом – деревенская площадь, что-то вроде карнавала, люди танцуют, поют, валяются в грязи. На следующей картине изображен воин, пронзенный стрелами, в кольце врагов, чьи лица искажены ненавистью. Еще на одной, без рамы – деревянная доска с толстым слоем краски, – пригвожден к кресту Иисус, помещенный между двумя другими распятыми. Томас уже видел эту сцену, на витражном окне своей старой приходской церкви. Это Голгофа. Там, в церкви – что особенно отчетливо видно ясными зимними утрами, когда на стекло падают лучи низкого солнца, – от плеч двух воров поднимаются темные клубы дыма, щеки их испачканы черным. Здесь же они висят с таким же безгрешным видом, как и Спаситель между ними.

– Как такое возможно? – спрашивает он, пока его взгляд мечется с картины на картину. И опять вздрагивает, когда рядом встает леди Нэйлор.

Но не сторонится.

– Объяснений всего два. Во-первых, это может быть художественной вольностью. Фантазией живописца. Допустим, что есть художники-изгои, которые мечтают об ином мире и не изображают дым на своих полотнах. Такие и в самом деле существуют, у меня имеется несколько их картин. Но здесь нет ни одной из них. Второе, истинное, объяснение состоит в том, что раньше все картины были такими. Вплоть до определенного года. Трудно сказать, до какого именно: по моим прикидкам – до тысяча шестьсот двадцать пятого или двадцать шестого. Никакого дыма. Ни на одной картине. Даже на полотнах со сценами насилия, пыток, войны и казни. Потом в течение какого-то времени картин не пишут вообще. За тридцать или сорок лет во всей Европе не сделано ни единого мазка. Может быть, никому не хотелось заниматься живописью. Или же все картины тех лет уничтожены, как и множество более старых. Целое поколение молчаливых. Потом картины появляются снова. Сначала на них изображают лишь природу: ручьи, горы, штормовые моря. Проходит еще поколение, прежде чем живописцы обращаются к людям. К джентльменам, дамам – и ни единого простолюдина, исключая религиозные сюжеты: например, в котле варят мученика, который остается снежно-белым в бурой воде. Люди, которые подбрасывают дрова, чернее ваксы, даже воздух вокруг них потемнел от их грязи. – Она улыбается. – Как в этом кабинете. Не возражаете, если я приоткрою окно?

Она поворачивается к нему спиной, намеренно не торопясь, словно желает подразнить Томаса, который все еще сжимает в кулаке тупое лезвие игрушечного ножика. Тот протягивает руку, чтобы положить нож обратно на стол, и лишь тогда осознает, что у него занемели пальцы. Леди Нэйлор терпеливо ждет, когда его язык догонит чувства. Так сестра милосердия ведет больного к постели, давая ему время на каждый шаг.

– Вы хотите сказать, что было время без дыма, – наконец выговаривает Томас. – Но это невозможно. Все книги по истории...

– Созданы позднее. Школьными учителями. Университетскими преподавателями. Спросите моего мужа. Он сам писал такие книги.

– Но это стало бы известно. Люди не могут не помнить. Родители рассказали бы детям, а те, в свою очередь, своим детям. Нельзя же забыть такое.

– Нельзя? Даже если все картины уничтожены, все книги сожжены? Если не осталось ни единого свидетельства, чтобы подтвердить рассказы стариков? Если всех учат, что говорить правду – грех, а тех, кто все же не молчит, сжигают на костре? Почти три сотни лет, Томас. Долгий срок. Очень долгий. Но вы правы, кое-кто знает об этом. В основном на континенте. Там действовали не настолько тщательно, как здесь. Осталось несколько университетов с тщательно оберегаемыми собраниями книг. Есть даже монастырь в Германии, где...

– Библия, – перебивает ее Томас излишне громко. Он почти кричит. – В Библии упоминается о дыме. Везде. В Ветхом Завете. В Новом. В каждой главе и в каждом стихе. А Библия была написана в... вы знаете когда. На заре времен.

– Да, написали ее на заре времен. Вы помните, когда дым упоминается впервые?

– В Книге Бытия, – без запинки отвечает Томас. – Падение Адама и Евы.

– Да, в главе третьей. Как она звучит?

Томас цитирует по памяти:

– «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания, и стали опоясания черными от их сажи».

– Очень хорошо! Я не знала, что вы такой прилежный ученик. Должно быть, этому научила вас ваша мать. Решительная женщина, настоящий реформатор. Но очень религиозная. – Леди Нэйлор перемещается к застекленному книжному шкафу, открывает дверцы, подзывает Томаса. – У меня здесь несколько разных Библий. Выберите любую. Прочитайте мне этот абзац.

Томас исполняет просьбу, вытягивает с полки маленький ветхий томик, раскрывает на Книге Бытия.

– Тут на латыни: «Et aperti sunt oculi amborum cumque cognovissent esse se nudos consuerunt folia ficus et fecerunt sibi perizomata».

– Так переведите. Вы же учите латынь в школе? По крайней мере, я на это надеюсь. Ведь это я плачу за ваше обучение.

Он смотрит на слова. Голос его срывается, мозг цепенеет, когда он осознает, чего нет в тексте.

– «И открылись глаза у них обоих. И когда они поняли, что наги, они соединили листья и сделали себе одежду». – Он листает назад, к началу книги, чуть не вырывая страницы. На обложке находит дату, записанную римскими цифрами: MDLXII.

1562 год.

Томас поднимает взгляд. В его глазах стоят слезы.

– Они переписали ее, сволочи.

– Да, переписали.

– И все – все! – ложь.

– Да.

Она забирает у Томаса книгу, ставит обратно на полку, встает к нему лицом – на расстоянии вытянутой руки – и пытается прочитать по лицу его чувства. Томас дожидается, когда слеза докатится до губы, и слизывает ее языком, пробуя на вкус свою боль; в слезе – горечь от сажи.

– Ваша дочь знает об этом?

Черты лица леди Нэйлор становятся жесткими. Впервые с тех пор, как Томас встретил ее в поместье, он видит это выражение – такое же было у человека, соскребавшего свежую сажу с трупа повешенной женщины.

– Ливии я давно рассказала. Она считает, что это ересь, а мои исследования – скверна. – Она смеется, плотнее запахивает на себе полы халата и на мгновение становится какой-то тще-

душной, пожилой. – Дочь говорит, что если старинные книги были сожжены, значит, для этого была серьезная причина. Что никакая чума не падет нам на голову, если только ее не пошлет Господь, и ни одна собака не перегрызет барсуку горло, если Господь не держит ее за поводок. – Леди Нэйлор делает паузу, чтобы успокоиться. – Но пока что Ливия не донесла на меня.

Она идет к столу, садится в кресло, складывает стопкой бумаги.

– Моя дочь, – внезапно заявляет она, – живет так, будто она фарфоровая кукла. Ведет себя очень осторожно. Прислушивается к себе, вся зажатая, застывшая в одной позе. Она ждет. Понимаете, она ждет, не сломается ли в ней что-то, не откроется ли тайное вместилище дыма. Она боится, что в ней, где-то в самой глубине, обнаружится нечистота, доказывающая, что она грешница. Вы видели, как она держалась за ужином. Раз или два она пыталась смеяться. Но не знает, как это делается. И позволено ли это. – Леди Нэйлор машет рукой, будто хочет отогнать эту мысль, точно неприятный запах. – Хватит о Ливии. Что она посеет, то и пожнет. Мне интересно, что будете делать вы. Теперь, когда знаете правду.

Томас слышит, как колотится в его груди сердце. Чудовищное новое знание обрушивается на него, выдавливает из легких воздух. Он ищет что-нибудь простое, часть целого, понятную ему.

– Что вы делали в Лондоне, леди Нэйлор? Для чего вам сажа той женщины?

– Для экспериментов.

– Вы ищете лекарство. От дыма.

– Да.

– Как?

Она опять смеется:

– Как? О, это долгая история. Слишком долгая для одной ночи.

Томаса охватывает паника. Паника из-за того, что сейчас он пробудится и все окажется сном.

– Но вы расскажете мне? Все-все?!

– Все, что смогу. Но не сейчас. Мне нужен отдых. – Она всматривается в его лицо, видит мольбу. – Ну ладно, еще один вопрос. Короткий.

Томас кусает губы, боясь понапрасну использовать попытку, как те герои сказок, что тратят три желания на всякие глупости. Потом вспоминает.

– Леденцы, – выпаливает он. – «Бисли и сын». Мы съели по одному, но ничего не почувствовали. Что это такое? Как они действуют?

Ранним утром Чарли просыпается от приятных снов. За окном все еще темно. Лишь через несколько минут он понимает, что один в комнате. От кровати Томаса не доносится ни звука. Удивленный, Чарли скатывается с матраса, на цыпочках бредет в темноте, пока не утыкается коленом в другую кровать. Подушка на ощупь совсем холодная. Пока он размышляет над этим обстоятельством, мимо их двери кто-то проходит с лампой. Свет проскальзывает в щель, облизывает доски и исчезает.

Когда Чарли выглядывает в коридор, источник света уже удалился на семь или восемь шагов. Человек, который держит лампу, двигается быстро. Он закрывает собой большую часть света, поэтому виден только его силуэт – темнота, обведенная лучами золота. Ярче всего ореол вокруг головы, что производит особенно сильное впечатление.

Чарли узнает ее по прическе. По мере того как его глаза привыкают к свету, Ливия обретает объем, превращается из порожденного лампой видения в более плотского призрака. Вчера наряд ее был простым, сейчас же он по-спартански скромнен: фартук поверх туники по шиколотку, то и другое – ослепительно-белое. В свете газовой лампы волосы девушки приобретают медовый оттенок. В руке она держит фарфоровый кувшин.

Чарли без колебаний идет за ней, делая три шага, прежде чем осознать свое решение. Он не таится, но и не выдает намеренно своего присутствия – просто идет следом. Вокруг его ног вьется сорочка; поспевать за Ливией не так-то легко.

Она ведет его по лестницам: сначала главный пролет, потом длинный коридор с портретами, вазами, головами животных, после него – лестница поуже, под скошенным потолком. Чердак. Чарли не понимает, заметила ли девушка, что ее преследуют. Она не замедляет шаг, не оглядывается, но когда останавливается у двери в десяти ярдах впереди него, то как будто нарочно мешкает, чтобы Чарли не перепутал двери, – по крайней мере, так ему кажется. Потом Ливия скрывается внутри. При ее появлении слышится звук – звериный вой, и Чарли невольно замирает.

Так кричат от боли.

Несмотря на газовую лампу Ливии, в комнате за дверью темно. Поначалу Чарли думает, что все выкрашено черной краской. Но когда он случайно задевает стену рукой, черное покрытие крошится и пачкает его пальцы сажей. Помещение большое, но из мебели – только стулья, стол, комод и большая железная кровать. К кровати кто-то привязанный широкими кожаными ремнями, охватывающими щиколотки и запястья. Опять раздается странный вой, который заполняет всю комнату. У Чарли мурашки бегут по коже – он понимает, что звук издает лежащий человек. Его руки и ноги пытаются вырваться из кожаных оков.

– По утрам он часто волнуется.

Голос Ливии спокоен, деловит. Она стоит у стола между кроватью и окном, переливая воду в таз. Сажа уже запятнала ее фартук. Когда она наклоняется, чтобы протереть влажной губкой лоб мужчины, тот снова вопит, и от его тела поднимается столб темно-зеленого дыма. Отвисшая челюсть, злобная гримаса – кажется, что это маска, а не лицо. Все индивидуальные черты, которые мог иметь этот человек, стерты его нынешним состоянием.

– Мама считает, что мы должны держать это в секрете, – продолжает Ливия все тем же невозмутимым тоном, не отрывая взгляда от предмета своих забот. Но все же Чарли кажется, будто она пристально наблюдает за ним, отмечает каждое его движение, анализирует, судит. – А по-моему, мы должны смиренно принимать все, что посылает нам Провидение, без стыда.

Только теперь, когда она договорила, до Чарли доходит.

– Барон Нэйлор, – срывается у него с языка. И тут же добавляет – с готовностью, которая доставляет Ливии удовольствие, судя по тому, как засветились глаза на ее маленьком, тонко очерченном лице: – Чем я могу помочь?

– Нужно вымыть и накормить его.

Задача оказывается трудной, в том числе из-за того, что приходится снять кожаные узы. Барон Нэйлор сопротивляется. Он немолод – вероятно, лет на двадцать старше супруги (хотя, возможно, его состарила болезнь: худ и нечесан, и коренные зубы в глубине рта, там, куда трудно просунуть зубную щетку, почернели). При этом он силен как бык и, похоже, недоволен присутствием незнакомца. Едва они освобождают правую руку, как она вцепляется в запястье Чарли. Барон вновь ревет; густой, ядовитый дым выползает из него и пробирается вверх, вдоль руки Чарли. Через миг дым заполняет нос и легкие мальчика. Чарли начинает бороться с бароном, проникается ненавистью к нему, захлестнутый отвращением, и, когда рука безумца снова тянется к нему, чтобы нащупать его горло, Чарли отталкивает ее, грубо и жестоко. Лишь выплюнув свой гнев, Чарли видит, что он тоже дымит.

Стыд пронзает его, остужая, прерывает испускание дыма. Он пятится к стене, где инфекция больного не дотягивается до него. Там он стоит, тяжело дыша, вжимаясь спиной в стену, как взломщик, пойманный на месте преступления. Потом он бросает взгляд на Ливию и опускает голову.

– Не могу. Мне не хватает сил.

Ливия смотрит на него, по-прежнему держа на теле отца руки, по локоть окутанные дымом старика; но голова ее повернута к Чарли, и он видит, как ей трудно, как велико ее самообладание. Ее собственный дым едва заметен – белые клочки, слетающие с губ и окрашивающие их в серый цвет. Можно подумать, что ее накормили пеплом. Чарли понимает, что она одевается в белое, желая проверить себя. Все должно быть на виду. Он не может сдержать восхищения, близкого к страху. Ливия же, не скрывая своего разочарования, отходит от отцовской кровати к столу, берет с него жестяную банку и бросает ее Чарли, совершая быстрое, надменное движение кистью.

– Возьмите. Мама пользуется этим, когда поднимается сюда. Одной будет достаточно.

Чарли открывает банку и видит там дюжину леденцов. Прозрачные, размером с костяшку, со знакомым символом: «B&C» под короной с тремя зубцами. Он выуживает одну, мотает головой:

– Что с этим делать? Я уже пробовал такой леденец, но ничего не случилось. Во рту остался вкус мыла, и все.

Она отвечает, не оборачиваясь:

– Положите леденец в рот. Не жуйте его. Он вытянет дым из вашего дыхания и крови, свяжет его до того, как он станет видимым. До того, как дым подействует на ваш мозг.

Чарли выполняет ее указания, потом осторожно, не вполне доверяя себе, делает шаг к кровати. Ливия справляется с трудом: отец борется с каждым ее движением, плюется, кусается, лягается. Но на этот раз Чарли сохраняет хладнокровие, сознание его остается ясным, почти отстранившись от происходящего. Он завладевает руками барона Нэйлора и очень осторожно прижимает их к кровати, говоря тихие, успокоительные слова – так утешают испуганного ребенка или домашнего питомца. Потом он берет у Ливии губку и протирает барону лицо, шею и уши. Спустя несколько минут старик затихает, становится податливым, как ребенок, с его лица уходит гримаса безумия, и его родство с Ливией становится очевидным. У него такие же тонкие черты лица, такие же скулы, такое же благородство во всем облике, тронутом старостью.

– Что теперь? – спрашивает Чарли.

– Теперь надо снять с него сорочку, вымыть ноги и... все остальное.

Ливия краснеет, указывая на бедра отца. Чарли осознает, насколько прискорбно все это: мать и дочь вынуждены быть сиделками для мужа и отца.

– Я сам это сделаю, – говорит он, – а вы отдохните.

Мытье ног и тела барона оказывается удивительно незамысловатой процедурой – после того, как Чарли сумел отвлечься от его наготы. Примерно то же, что мыть самого себя. Барон Нэйлор теперь спокоен и даже позволяет себя побрить. Чарли делает это очень медленно и аккуратно, до тех пор, пока не соскребает с подбородка пять или шесть лет преждевременной старости. Наконец барон переодет в чистое, кровать застелена свежим бельем, и Чарли присоединяется к Ливии, стоящей у окна. Рассвет только занимается, газон все еще покрыт серой тенью, а далекий лес кажется черным квадратом в раме из более светлых полей.

– Вы можете разглядеть женщину, выходящую из леса? – шепотом спрашивает Ливия и продолжает, не ожидая ответа: – Слуги, те, что постарше, рассказывают историю о женщине, бродящей по лесу. Она потеряна, так говорят, и живет поодаль от людей – наполовину во тьме, наполовину на свету. Еще говорят, что это потерянная душа моего отца. Его разум. – Она печально улыбается оконной раме. – Но я никогда ее не видела, хотя наблюдала тысячу таких рассветов.

Вот тогда она оборачивается к Чарли и изучает его, открыто и подробно.

– Вы потрясены. Потрясены и испытываете отвращение. Вот в этом месте все видно. – Она указывает туда, где его брови сходятся над переносицей.

Чарли молчит пару секунд, оценивая, в свою очередь, ее чувства. Он понимает, что нужно дать честный ответ.

– Нет, это не так, – говорит он наконец. – Я задумался. Мне только что пришло это в голову, когда я смотрел вместе с вами в окно. Это и есть дым? Дым – безумие. Вот так просто.

Когда она отвечает, ее голос прерывается от возбуждения. Будто Чарли только что высказал ее давнишнюю тайную мысль.

– Платон пишет, что душа зла вносит в жизнь беспорядок.

Ливия хочет продолжить, но умолкает. Она все еще не доверяет ему.

– Мы не читали Платона, – говорит ей Чарли. – Только заучивали даты его жизни.

Ливия задумчиво закусывает губу.

– В библиотеке на первом этаже есть его книги. На греческом. Отец перевел некоторые из них. Когда преподавал в Кембридже. Я нашла его записи.

Ливия переводит взгляд на человека, лежащего на кровати: он вновь привязан ремнями, безвольный, безучастный. Потом она замечает складную бритву на прикроватном столике, подходит туда, убирает лезвие, взвешивает бритву в руке.

– Вы его побрили, – внезапно говорит она, словно только что выяснила это. В ее голове этот факт как-то связан с Платоном, с безумием и с грехом. Однако Чарли не в силах увидеть связь. – У вас хорошие руки, Чарли Купер.

Он прячет свое смущение, отрицательно мотая головой.

– Только благодаря вот этому, – говорит он и вынимает из-под языка конфету. Та уменьшилась в размере и потемнела, став почти черной. Ее запросто можно принять за гнилой зуб.

Ливия смотрит на леденец с омерзением.

– Выкиньте. Он больше не впитает ни капли дыма.

Чарли кивает и прячет леденец в кулаке.

– Откуда они у вас?

– От матери. Их производит государство, точнее, специальная фабрика, с которой государство заключило контракт. Раньше это было большой тайной. Леденцы получали лишь немногие – те, кто занимал определенные должности. Например, священники. И правительственные чиновники.

– И учителя.

– Да. Для чрезвычайных случаев и чтобы противостоять инфекции, когда приходится иметь дело с простым народом. Но мама говорит, что происходят перемены. Фирма «Бисли и сын» продала торговую монополию, а новые владельцы продают леденцы всем, кто готов платить, – разумеется, тайно. Черный рынок. Мама думает, что даже простолюдины могут их купить. Видимо, вскоре их будут продавать в любой лавке, вместе с чаем и мылом.

Чарли не в силах сдержаться и присвистывает. Получается веселее, чем было задумано.

– Или вместе с лакрицей и орехами! Но это же хорошо, правда? Значит, люди смогут бороться со своим дымом. Подавлять его.

Ливия гневно сводит брови.

– Это грех, вот что это такое. Преступление.

Она испепеляет Чарли яростным взглядом, словно считает виноватым и его. Использованный леденец в кулаке Чарли тает и липнет к коже.

– Я пойду, пожалуй.

Ливия не останавливает его. Лишь когда он уже стоит на пороге, девушка говорит:

– С Рождеством.

Чарли оборачивается.

– Уже? Я потерял счет времени.

– Канун Рождества. Мама выросла за границей. Она придерживается континентальных традиций. Будет праздничный ужин, потом рождественские песнопения.

– У меня нет для вас подарка.

– Я на него и не рассчитывала.

Она произносит это холодным, отстраненным тоном. Точно всего, что случилось утром, не было вообще.

– Дым – это безумие, – повторяет про себя Чарли, шагая вниз по лестнице. – Вот почему она такая. Она – дочь своего отца. Он потерял рассудок. Поэтому она боится.

Чарли все еще обдумывает эту мысль, когда входит в гостевую комнату и видит там Томаса. Дверь на террасу открыта, и Томас сидит на ее пороге. В тусклом утреннем свете он выглядит осунувшимся и нездоровым. Дождь намочил один рукав сорочки, и ткань прилипла к руке.

Чарли плотно закрывает дверь в коридор, после чего говорит:

– Я знаю, что это за леденцы. И я понимаю дым.

Томас поворачивает к нему лицо, по которому струится вода:

– Я знаю больше, чем ты, Чарли. Я прочитал Библию.

Они садятся на пол, плечом к плечу, и рассказывают все друг другу.

Ливия

Рождество мы проводим вместе с гостями. Мама, соблюдая обычаи своего семейства, подает карпа в черном сливовом соусе и картофель с маслом. Я говорю, что трапеза должна напоминать нам о посте, а добавление фруктов к рыбе делает блюдо слишком сладким и аппетитным, но она игнорирует мое возражение. У нас гости, твердит она, а монастырской едой можно питаться, когда они уедут. Вечер испорчен еще и тем, что Лиззи, судомойка, пытается стащить подарок из-под рождественской ели. И мне выпадает несчастливый жребий – я застаю ее в момент кражи. Бестолковая гусыня путается в своей грубой лжи и тут же испускает облако дыма. Маме остается лишь отправить ее на кухню, и мы все смотрим, как она убегает, стуча по полу тяжелыми башмаками, в неприлично задранной – до икр – юбке.

Несмотря на это, праздник проходит довольно торжественно. Я была рада обнаружить, что мистер Купер – Чарли, как он настойчиво просит называть его, – обладает превосходным голосом для исполнения гимнов. И вообще это вежливый, даже приятный гость. Утром в Рождество я удивлена: он ждет меня перед отцовской дверью, когда я туда подхожу. Он ничего не объясняет, лишь весьма мило краснеет, берет из моих рук кувшин и губку и принимается помогать. Мне нравится то, что он краснеет. На этот раз он отказывается от леденца и, когда дым завладевает им, скромно держится в стороне до тех пор, пока вновь не обретает спокойствие духа. Отец проникся к нему симпатией, и, уже уходя, мы слышим, как он напевает какую-то глупую песенку. Мистер Купер подхватывает мелодию и начинает прыгать по коридору как безумный.

Мистер Аргайл совсем не такой. При нем я чувствую себя неловко. В его взоре есть что-то напористое, нахальное, ищущее, что заставляет меня вспомнить о моем невзрачном платье и скучной прическе, о старых стертых башмаках, которые я ношу дома. Нет, я не хочу выглядеть привлекательнее ради него – лучше бы Господь вообще избавил меня от его взглядов, – но к ужину выбираю ожерелье и передеваюсь в шелковое платье, подаренное мамой ко дню рождения, лишь для того, чтобы поставить его на место. Хотя не так уж часто я вижу его, моего темного кузена. Мистер Аргайл днями напролет сидит в кабинете матери, где она забивает ему голову своими теориями. Непонятно, верит он ей или нет: на ней он тоже подолгу задерживает свой странный взгляд. Сила этого взгляда такова, что его собственное лицо остается непроницаемым. Полагаю, в школе его не любят.

Однако мне надо благодарить его за то, что он здесь. Это помогает мне не впадать в излишнее благодушие. Каждый вечер после молитвы я сажусь и проверяю свои чувства. Приезд гостей – Чарли Купер, его помощь в уходе за отцом – обогатил мою жизнь, и я довольна, что случается редко. Но я счастлива, что во мне нет ни малейшей радости, когда поутру я приступаю к своим обязанностям. Радость не грех. Но всегда лучше действовать, повинувшись долгу. Следуя своим желаниям, ты часто поступаешь бездумно. Желания переменчивы. Более того, они могут завести тебя не туда. И однажды, думая, что все делаешь правильно, ты обнаруживаешь, что дымишь.

Мама говорит, что я одержима дымом; что я не изгнала дым из своей жизни, а, напротив, сделала его своим идиолом. Да, я благодарна дыму. Если ты оступишься, он сообщит об этом. Представим мир, в котором ты совершаешь ошибки, а никто их не замечает. Даже ты сам. До той поры, пока, понемногу деградируя, ты не соскользнешь в злодейское безумие злодейства. Дым поедает наш рассудок угольной ложкой. Свою добродетель мы измеряем его чернотой. Хорошо, что он оставляет след.

На второй день Рождества мама допоздна сидит с гостями, читая им лекцию по истории. «День, когда пришел дым». Слуг она отослала спать. Ересь, которую она проповедует, не для них.

Дым, напоминаю я матери, от Бога.

Так ведь и рак тоже, говорит она.

Рак тоже преподносит нам урок, говорю я, и мистер Аргайл опаляет меня таким гневным взором, что мне хочется бежать из комнаты. Я позабыла, что эта болезнь унесла его мать. И вновь вечер спасает мистер Купер. Он предлагает партию в вист. За игрой он расспрашивает маму о жизни в Париже и Вене. Уже несколько лет я не слышала ее смеха, и, вопреки здравому смыслу, я счастлива.

Мы пребываем в гармонии целых пять дней: от кануна Рождества до Дня избиения младенцев. Каждый день я ставлю в часовне одну свечу. Пять свечей, каждая в фут высотой, толщиной с запястье, горящие перед алтарем Девы Марии. Потом появляется мой единоутробный брат. Он приезжает верхом, без предупреждения, в сопровождении одного слуги, и вот уже весь дом полон только им, его голосом, его оживленным смехом, звоном его шпор. По его словам, он приехал, чтобы предупредить нас о цыганах-мародерах. Он бахвалится, бездельничает и не дает никому пообщаться с мамой.

Лучше бы он просто прислал телеграмму.

Бой

Он прибывает во время обеда. На этот раз трапеза скудна и состоит из студня и чечевичной каши: нагоняй за прошлые прегрешения, изобретение Ливии. Томас пережевывает каждый кусок так, будто отбывает наказание, и не обращает внимания на пинки Чарли под столом. Кашу загустили крахмалом, отчего она стала плотной, как подмороженная грязь.

Неожиданно возле стола возникает дворецкий, Торп, и шепчет что-то на ухо леди Нэйлор. Трудно определить эмоции, которые пытаются проявиться в ее чертах, но самая сильная из них – это, пожалуй, досада, судя по поджатым губам. Хозяйка дома без слов поднимается из-за стола, вынудив Чарли и Томаса вскочить на ноги (нельзя сидеть, когда леди стоит), затем, сделав три размашистых шага, покидает столовую.

Любопытство легко побеждает подпорченный чечевицей аппетит. Поскольку мальчики уже на ногах, они отправляются вслед за леди Нэйлор: Томас идет первым, Чарли – на шаг позади. Только Ливия остается за столом. Оглядываясь, Томас запечатлевает в своей памяти этот образ: прямая спина, подбородок, уткнувшийся в грудь, поза выражает покорность перед новым унижением.

Они догоняют миледи в холле. Та заняла позицию у одного из широких окон, откуда открывается вид на подъездную дорожку. Там только что спешили два всадника. Один – высокий крупный мужчина в пальто, с коротко стриженными волосами и пустым, плоским лицом. Ему лет сорок пять или больше, но двигается он с уверенностью более молодого человека. Скулы его горят от ветра и холода.

Что касается второго, то очень странно видеть его без школьной формы, в охотничьем костюме знатного джентльмена: пальто из плотного клетчатого твида болотного цвета, шляпа из той же материи, сапоги по колено. Над верхней губой темнеет пушок – Джулиус Спенсер отращивает усы. Он привел еще одну лошадь, выючную, нагруженную сундуками и ружьями в кожаных футлярах. К его запястью петлей прикреплен хлыст.

Через стекло голос Джулиуса не слышен. Судя по жестам, он велит прислуге леди Нэйлор помочь его спутнику с разгрузкой багажа. Значит, это слуга. Когда Джулиус бросает поводья подскочившему конюху, из-за лошадиного крупа стремительной тенью выскакивает собака и усаживается рядом с хозяином. Она доходит ему почти до пояса; мощное тело покрыто темно-рыжей шкурой с обильными складками, красноватые глаза среди глубоких морщин кажутся маленькими, оскал обнажает пятнистые десны. Собака издает вой – достаточно громкий для того, чтобы звук проник в дом, – и получает за свои старания хозяйскую ласку, а точнее, пару шлепков по морде и носу, после чего прижимается к хозяину в приливе рабского обожания.

– Миледи! – орет Джулиус в сторону двери, а не окна, хотя прекрасно видит леди Нэйлор, видит их всех, стоящих в ряд и неотрывно следящих за ним. – Мама! Встречай своего возлюбленного сына.

При этих словах Томас в изумлении отворачивается от окна к леди Нэйлор:

– Неужели...

Ее лицо превратилось в камень.

– Так и есть. Это мой сын от первого брака. А вы – сын сестры моего второго мужа. Недавно я пыталась в этом разобраться. Найти правильный *термин*. Вы с ним кузены, вероятнее всего. В некотором смысле.

Она любезно смотрит на Томаса, потом направляется к двери.

– Как я понимаю, в школе он не упоминал о вашем родстве. Несомненно, просто забыл.

Перед тем как открыть дверь, она еще раз оглядывается на него:

– Если вы с Чарли не жаждете поприветствовать своего соученика, предлагаю продолжить обед. Полагаю, мой маленький *Жюль* захочет поговорить со мной наедине. Нам есть что обсудить.

В следующие несколько дней они почти не видят леди Нэйлор. Она часто запирается с сыном в кабинете, после чего удаляется в личные покои и выходит только к столу, где с мрачной вежливостью восседает перед двумя своими детьми и двумя гостями.

Томас ожидает, что такая перемена в ее поведении разозлит его, что он будет чувствовать себя отвергнутым, забытым, лишним, к тому же много возникших у него вопросов пока остается без ответа. Но вместо этого он испытывает другое чувство – ощущение новообретенной свободы. Впервые с момента их приезда в поместье они с Чарли предоставлены сами себе. Вкупе с присутствием Джулиуса – с его самодовольным ехидством, чопорным высокомерием – эта свобода напоминает выходные дни в школе.

Теперь, когда им более-менее знаком распорядок жизни в доме и можно не беспокоиться о том, что ненароком сунешь нос туда, куда не следует, они с головой погружаются в изучение поместья. Поначалу их исследования обходятся без разговоров, и для Томаса это становится большим облегчением. За последние дни было слишком много разговоров и слишком мало времени на то, чтобы уложить их в голове.

Томасу и Чарли открывается целый мир, полный диковинок. Конюшенный двор, к примеру, оказывается сложной системой сараев, мастерских, собачьих закутов и жилых помещений. Он настолько обширен, что больше походит на отдельную деревню, а не на хозяйственную пристройку. Среди трех с лишним десятков охотничьих собак есть русская борзая с такой крутой грудью, что ее шерсть едва не касается земли, а дальше тело сужается настолько, что ребенок мог бы обхватить его руками. В другом сарае без цепи, без замка коротает дни мастиф лорда Нэйлора. Он спит, положив обе лапы на топорище, которое, по рассказам прислуги, присвоил еще щенком. Говорят, что пес весит сто двадцать три фунта и что держат его в основном потому, что «его чертовски трудно сдвинуть с места».

В самом доме отыскались спальни и гостиные, где нога человека не ступала на протяжении многих поколений, где полы стали одноцветными под дюймовым слоем пыли. Мебель там обтянута простынями и одеялами. В некоторых комнатах мебельные груды доходят до потолка и обвязаны веревками, отчего диваны, стулья и столы кажутся странно массивными, становятся пришвартованными в тумане кораблями; под килем – море безмятежной пыли. Оставленные мальчиками следы нарушают этот покой. Носясь взад-вперед, прыгая на одной ноге, приятели вписывают в память комнат демонические пляски, над которыми слуги затем будут ломать голову.

Еще есть подвалы, уставленные бочками и бутылками, и другие, заполненные могучими кругами сыров – пирамидами высотой с человека. В одном крыле на верхнем этаже нашлась анфилада комнат, где полы выложены черно-белой плиткой как шахматное поле, а вся мебель вынесена. В заброшенном угловом кабинете стоит большой латунный телескоп, высываваясь в съёмную раму узкого окна, целясь в зимнее небо.

Соблюдая негласный договор, они не заходят на чердак. Подразумевается, что это территория Чарли. Чарли и Ливии и, конечно, их пациента. Томас не говорит Чарли, что чердак не является для него неизведанной областью. Он уже был там. В тот день, когда Чарли поведал ему о своем открытии, он поднялся туда, ведомый собственной нуждой. Случилось это ранним вечером. Томас спрятался в тени дверного проема, пока двое слуг, мужчина и женщина, в свой черед ухаживали за нанимателем. Их голоса и неразборчивые слова разносились далеко по коридору. Когда они наконец удалились, Томас подошел к двери, беззвучно приоткрыл ее и с порога заглянул внутрь. Слуги оставили в комнате прикрученную газовую лампу, висевшую на крюке, на противоположной от кровати стене. Прошло несколько минут, прежде чем глаза

Томаса привыкли к темноте и различили на постели человека. Все это время он прислушивался к дыханию барона, по большей части ровному, но чересчур шумному для спящего. Это дыхание немного обнадежило Томаса. Он пришел сюда, чтобы увидеть свое будущее: цветение того семени, которое разглядел в нем Ренфрю, но не смог вырвать. Томас ожидал буйного безумия Лондона, излечиваемого лишь с помощью веревки. Оказалось, что есть и иной исход его болезни, более спокойный.

«Если дойдет до этого, – промелькнуло у него в голове, – я попрошу Чарли, чтобы он помог мне положить этому конец».

Потом из полумрака стало выступать лицо барона. Первыми появились глаза: большие белые яблоки с темными дырами зрачков. Они двигались, смотрели. Понимали, что за ними наблюдают. Больного старика затрясло от возбуждения, его сорочка пропиталась чернотой. Томас тут же убежал. Он не хотел пугать его. Так же как не хотел терять последнюю иллюзию относительно своего судного дня.

Утром третьего дня исследований Чарли и Томас находят бильярдную комнату и гимнастический зал. Бильярдная – узкое помещение, обитое деревянными панелями, со столом для игры в одном конце и шкафчиком для напитков в другом. Атмосфера здесь самодовольно-мужская – от стеклянной витрины с запасом сигар до ряда графинов, наполненных хересом и портвейном, – настолько, что создается стойкое ощущение, будто джентльмены в сюртуках стоят буквально за углом. Отдают должное дамам. Ищут предлоги, чтобы поскорее вернуться к игре.

Комната на другой стороне коридора выглядит совсем иначе. Просторная, со множеством окон, она не застелена коврами и почти лишена обстановки, кроме четырех столбиков высотой по грудь, которые образуют на полу воображаемый квадрат. Грани квадрата подчеркнуты двойным рядом веревок, растянутых между столбиками. Внутри ринга, в его противоположных углах, стоят два табурета. Под окнами – длинная скамья, напротив нее – одинокий скобочившийся шкаф на подгнившей ножке. Слева от шкафа висит зеркало, такое старое, что грязь, кажется, вросла в стекло. А справа – дагеротип в рамке с черным от пыли стеклом.

Сначала они открывают шкаф. Внутри – мусор, кучка покрытых плесенью полотенец, конус паутины, латунный колокол, чтобы отмечать раунды, и не меньше дюжины боксерских перчаток с рваной шнуровкой, отломанными большими пальцами и расползшимися швами. Не обсуждая и не сговариваясь, они принимаются мерить перчатки, подбирать пары, сметать пыль и насекомых, откидывать те, в которых разорванная кожа может поранить руку при ударе. У них нет гимнастических трико, поэтому они закатывают штанины повыше; нет спортивных туфель, поэтому они решают бороться босиком; нет фуфаек, поэтому они сбрасывают куртки и рубашки, стоят, озябнув, в тяжелых перчатках и смотрят на ринг.

Перед тем как нырнуть под веревки, Чарли дотягивается до дагеротипа и стирает перчаткой пыль со стекла. Появляется лицо, потом второе. Первое, красивое и сдержанное, принадлежит мужчине, вступившему во вторую половину своей жизни, но горделивому, следящему за собой, с длинными волосами, зачесанными назад и заправленными за уши. В нем прослеживаются те же черты, что у Ливии. Именно это сходство, в большей мере, чем походы на чердак, позволяет Томасу узнать барона.

Второе лицо мальчишки никак не ожидают здесь увидеть. Поэтому оно не поддается разгадке, но в то же время притягивает – настолько, что Чарли опять тянется к дагеротипу и перчатками снимает его с крючка. Они относят его на скамью, кладут плашмя и изучают, как сложный текст. Второй человек строен, не носит бороды, в чертах – мягкость, свойственная первым годам возмужания. Вся жизнь еще впереди, но уже так близко, что можно различить ее контуры.

Портрет черно-белый, и волосы мужчины не сияют знакомым цветом молодой кукурузы. – Ренфрю, – наконец говорит Томас, когда все сомнения отброшены.

Очистив, насколько возможно, стекло, они видят бледную кожу. Как и они сами, двое мужчин на портрете обнажены до пояса, одеты в трико, руки в перчатках подняты к груди. На заднем плане виден этот же гимнастический зал. Тени боксеров падают далеко за их спины, в глубину ринга.

– Где учился Ренфрю? – хочет знать Чарли.

– В Королевском колледже, в Кембридже. Говорит, это лучший колледж из всех.

– Ливия говорила мне, что барон Нэйлор раньше преподавал. В Кембридже. Должно быть, он был наставником Ренфрю.

– Пытался вколотить в него немного ума, судя по портрету. Жаль, что ничего не вышло.

Шутка не самая удачная, но она помогает вернуть настроение, заставившее их надеть боксерские перчатки. Кроме того, они замерзли. Томас вешает дагеротип на место и забирается на ринг. Чарли идет следом, но вдруг останавливается, мчится обратно к шкафу, достает колокол и звонит в него. Язычок колокола облеплен грязью так сильно, что звук больше похож на клеткот, чем на звон.

– Первый раунд, – объявляет Чарли.

Они принимают боевую стойку и начинают.

Долгое время ни один не наносит удара. Вместо этого они сражаются с тенью, держат расстояние, отпрыгивают вбок, чтобы внезапно рвануться вперед и исполнить неотразимый хук в пустоту. Когда они уже достаточно разогрелись и завелись, Чарли бежит к колоколу, неуклюже зажимает его пухлыми перчатками, потом подкрепляет его звучание собственным голосом.

Только в середине второго раунда до Томаса доходит, в чем причина их нежелания бить по-настоящему. Дело не только в том, что они друзья и им неприятно причинять друг другу боль, даже в спорте. Чарли, как понимает Томас, боится. Боится, что разбудит дым Томаса; боится, что один прицельный удар сломает в нем что-то – и тогда пробудится тот. Монстр, живущий внутри его. Сам он тоже сдерживает себя. Опасность, догадывается он, не в том, что тебя ударят, а в том, что ударишь ты; в удовольствии дробить плоть и кости кулаком в перчатке. Внезапно в его голове всплывают слова леди Нэйлор: «Моя дочь живет так, будто она фарфоровая кукла. Она ждет, не сломается ли в ней что-то».

Одна эта мысль окутывает его рот дымом.

Тогда он хищно оскаливается, подступает к Чарли и делает чистый плотный хук в плечо, тут же дополняя его быстрым кроссом. Приятель крикает, отходит, трясет пострадавшей рукой, словно проверяя, нет ли травмы, – и ухмыляется. Его перчатки поднимаются, он делает шаг вперед и наносит три стремительных удара в грудь Томаса, за которыми следует апперкот в живот. Завязывается жаркая стычка: плечи исколочены до красноты, грудные клетки чуть ли не звенят, ребра хорошенько намяты, а один хитрый удар снизу заставляет Томаса хватать воздух раскрытым ртом, как рыба на берегу. Они забывают про колокол и молотят друг друга до тех пор, пока, совсем запыхавшиеся и потные, не падают на скамью, лучась счастьем. Если и появлялся дым, то у обоих, легкий и несерьезный, вполне уместный в игре.

– Надо приходиться сюда каждый день, – говорит наконец Чарли и набрасывает на плечи куртку, защищаясь от оконного сквозняка. Из кармана торчит почтовый конверт. Чарли замечает его, улыбается и показывает другу. – Собирался показать тебе раньше. Наконец-то получил почту. Это от моей сестры. Письмо отправлено еще до Рождества, но пришло только сегодня. Она пишет, что надеется на наш скорый приезд – еще есть шанс, что мы успеем поехать со всеми в Ирландию. Ей не терпится познакомиться с тобой. – Он трет ноющую руку. – Должно быть, начитавшись моих писаний, она ошибочно решила, будто ты очень симпатичный. И добрый.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.